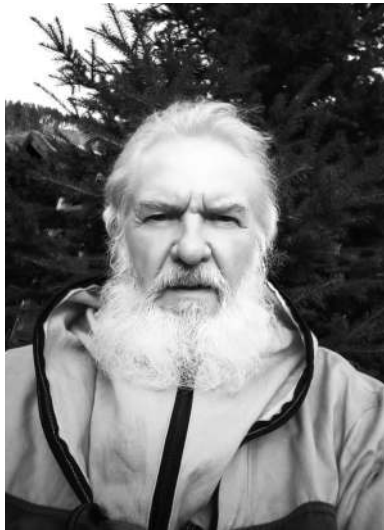




ОЛЕГ СЛОБОДЧИКОВ



## Таежный романс. Жизнь отшельника

ПОВЕСТЬ

Вспомнилось, как я любил тот южный город, где новогодними ночами всегда падал снег. В мутном свете фонарей степенно кружились крупные пушистые снежинки, мягко ложились на тополя, автобусы, серый асфальт, на шапки и плечи прохожих. На улицах было многолюдно, но без обыденной суеты и раздражения

---

СЛОБОДЧИКОВ Олег Васильевич, прозаик. Родился в 1950 г. Детство прошло в рабочих поселках низовья Ангары и Красноярского края. Окончил филологический факультет Казахского Государственного университета в г. Алма-Ате. С 1981 г. работал редактором отдела прозы в республиканском издательстве Казахстана «Жазуши» (Писатель), редактором отдела прозы журнала «Простор». В 1991 году переехал в Иркутск. В течение 12 лет работал редактором отдела прозы и публицистики в журнале «Сибирь», в 1998–1999 гг. — директором издательства «Иркутский писатель». В 1994 г. был принят в Союз писателей России. Печатался в журналах «Сибирь», «Москва», «Наш современник» и др. Автор книг: Перекрёсток: повести (Алма-Ата, 1987); Чикинда: повести (Алма-Ата, 1991); Заморская Русь: роман (Иркутск, 2000); По прозвищу Пенда: ист.-приключ. роман (Иркутск, 2009); Похабовы: Сиб. ист. роман (Иркутск, 2011); Первопроходцы (Москва, 2019). Трижды лауреат Губернаторской премии, в том числе в 2000 г. — за роман «Заморская Русь», в 2011 г. — за роман — «Похабовы»; лауреат премии журнала «Москва»; лауреат Национальной литературной премии им. В.Г. Распутина (2021). Живет в Слюдянском районе Иркутской области.

конца рабочего дня. Полусонно работали магазины, слегка украшенные серпантинном. Я шагнул за стеклянную дверь, на миг увидев своё запорошенное снегом отражение, отряхнулся и ступил в серую жижу грязной слизи на каменном полу. Продавщица с нарумяненными щеками, в белом пальто, в пышной лисьей шапке, весело торговала и доброжелательно отвечала на шутки возбужденных покупателей. С десятков мужчин и женщин со счастливыми лицами стояли вдоль прилавка, их глаза светились ожиданием чуда.

Я окинул взглядом зеркальные витрины с бутылками и встал последним. Из зеркала на меня смотрел импозантный мужчина в коричневой дубленке и ондатровой шапке, похожий на журналиста или преподавателя вуза. Восчувствовав свою значимость и разумный возраст средних лет, я остался доволен видом, купил шампанского, коньяку, толстую гаванскую сигару, сложил всё в модный профессорский портфель и вышел.

А снег всё падал. Неоновые фонари, как одуванчики, сонно и празднично клонили светлые головы к пустынным улицам. На троллейбусной остановке светились кубы из полиэтилена с горящими в них свечками, которые согревали букеты цветов. Цветочницы зазывали покупателей, желая всем нового счастья. Не торгуясь, я выбрал самый яркий букет и уложил его в портфель вместе с бутылками. Цветы неохотно согнули свои нежные головки, молча соглашаясь потесниться на некоторое время. Я не помнил своего прошлого, не представлял будущего, но знал, что эта ночь определит мою судьбу.

Из светящегося окна троллейбуса мне помахала рукой знакомая девушка по имени Майка. Я вошел в салон, снял и отряхнул шапку. Здесь было тепло и сыро. Молодая, стройная казашка уже сделала свой выбор: она любила моего товарища, имевшего семью. Я почему-то знал, что их отношения затянутся на много лет, потом она умрет после неудачной операции, во время которой откроется скрытая онкологическая опухоль, а он — от сердечного приступа за рулем автомобиля. Мне будет жаль их обоих, но в этот миг ненужная память будущего промелькнула в сознании без всяких чувств и тут же забылась.

А снег всё падал. Разгребая его ногами, мы с Майкой вошли в освещенный подъезд. Дверь открыла Гуля, остроумная и веселая девушка, которую сокурсники дразнили Гулькиным Носом. Носик у неё был даже красив, но маловат для её лица. На шум в прихожей вышла моя судьба в белом мини-платье, с распущенными по плечам волосами в цвет сентябрьской соломы, они были перехвачены по лбу серебряной полоской мишуры. Она была так сказочно красива, что тревожное предчувствие, устало взывавшее к рассудку, стекло с души вместе со снежинками, таявшими на моей одежде.

Её лицо было знакомо мне задолго до нашей первой встречи, как и то, что мы предназначены друг для друга: тому было много сопутствующих знаков и предзнаменований. Но вместо радости и счастья я почему-то ощущал смутное предчувствие западни и кружил возле судьбы, как мотылек у свечи, то приближаясь, то стараясь оторваться от влекущего жара. К нынешнему нашему сближению мы оба не прилагали усилий. Собрались её друзья, окончившие институт в этом, истекавшем снегом, году — молодые специалисты, делавшие первые шаги в карьерном росте. Я мог не прийти на встречу однокурсников, был чужаком среди них и догадывался, что нужен Моей Свече в эту ночь для отпущения её последнему парню за какие-то мелкие обиды, но это ничуть не смущало меня. Я многое помнил о судьбах этих почти незнакомых мне людей, среди которых не было ни одной, которой хотелось бы по-доброму позавидовать.

Я снял дубленку, весьма редкую в те времена, оставшись в костюме, которые появятся в общественной торговле лет через тридцать, а в те годы привозились из загранкомандировок, раскрыл портфель, вынул букет роз. Тряхнув сырыми головками, они весело расправили белые, красные и розовые лепестки.

— Цветы — хозяйке! — приказала она не терпящим возражений тоном. Ей нравился мой вид, и щедрый взнос в праздничную ночь. Я понял это по её бесхитроственному лицу, не умевшему притворяться и лицемерить. Она небрежно представила меня однокурсникам, сидевшим вдоль стен против стола, который ещё только начали накрывать. Они смотрели на меня пристально и пытливо, но без неприязни. Даже тот, последний, с которым случился разлад, не показывал ревности. Я знал, что он будет долго холостяковать, потом создаст добропорядочную семью с урожденной домохозяйкой.

Мне больше понравился другой, делавший предложение моей красавице на третьем курсе. Теперь он был женат на её однокурснице, красивой, статной еврейке. Я знал, что он из простой семьи, в институт поступил после службы в армии. Почему-то помнил, что через несколько лет, умученный нуждой и начальственным хамством людей, от которых зависела его карьера, он бросит науку и станет вольным экскаваторщиком.

Знал я и то, что горнолыжница с загипсованной ногой выйдет замуж за иногороднего парня и родит двух сыновей, а молодой инженер с кучерявой шевелюрой, окинувший меня равнодушным рассеянным взглядом, в настоящее время переживает развод с женой и разлуку с дочерью, которая погибнет в автоаварии лет через двадцать. Я помнил будущее их всех, но как ни напрягал память, не мог ничего вспомнить о себе, верней о нас с ней.

Крутил бобины студийный магнитофон, звучали модные иностранные песни. Гости танцевали, много ели и пили маленькими рюмочками, Гуля и статная еврейка — часто курили на кухне. Тот, кто был до меня, не проронив ни слова за весь вечер, быстро опьянел, как пьянеют от горя, и тихо ушел спать в другую комнату. Я видел, что мою красавицу любят все сокурсники, тщеславие приятно щекотало душу, голова тупела от мелких рюмочек и тяжелой закуски. Видимо, это понял её давний, с третьего курса. И так как мы с ним были старше всех в компании, жестом пригласил меня на кухню.

— Приятное жжение в желудке лучше отвратительного пощипывания языка! — продекламировал, разливая водку в стаканы. Наполнив их на две трети, поднял свой и кивнул мне на другой. Мы молча чокнулись, выпили, ярче и праздничней заблестела полоска мишуры на голове моей красавицы. Стрелки часов приближались к полуночи, все с восторженными лицами начали писать пожелания на клочках бумаги, жгли их и бросали пепел в бокалы. У них была традиция.

Написал и я о чем-то несбыточном, не касавшемся наших с ней отношений. Захлопали пробки шампанского, закричали ура! За окном опасно прогремели и вспыхнули несколько ракет. Накинув верхнюю одежду, мы гурьбой выбежали на улицу, укрытую мягкими сугробами, стали танцевать, разгребая снег ногами. Затем, взявшись за руки, мы с ней пошли по веселящемуся ночному городу. Встречные люди поздравляли нас как молодоженов и желали счастья, в которое искренне верили в ту ночь. Настороженность, беспокоившая меня накануне, здравый смысл и рассудок окончательно пропали в снежной кутерьме. Как скалолаз, повисший над пропастью без страховки, я разжал онемевшие пальцы и полетел в неведомое. Победила страсть.

Мы вышли в центр города, обещавшего нам новое счастье, к бетонному каскаду в середине широкой улицы. Летом здесь шумели фонтаны и купались дети. Теперь всё было укрыто сугробами. Я огляделся и вспомнил вдруг, что где-то поблизости у меня была квартира, купленная непомерно тяжкими трудами и почему-то забытая. Я стал вглядываться в сутулившиеся дома, вспомнил подъезд с высоким крыльцом и нащупал затерявшийся в кармане ключ. То ли далеко за снежными тучами что-то случилось со звездами, то ли с нейронами моего мозга, но это была знакомая дверь, а замок сработал без заминки, будто я закрыл его прошлым вечером. Мы вошли, и я вспомнил, как ремонтировал эту полуторку, как обставлял её. Всё было на месте, ничего не изменилось. Изумляясь капризам памяти, я очень обрадовался этому открытию.

И тут случился логический сбой: новогодней ночи не было, был другой день и год, судя по всему, прошло много лет, которые мы прожили в супружестве. И теперь, полуодетые, куда-то собирались: я — в майке и трикотажных подштанниках, она в белом бюстье разглаживала по ногам только что надетые колготки. Всё это я воспринял без удивления. Мой взгляд остановился на углу, против двери в комнате, где стояла тахта, купленная в комиссионном магазине и поднятая мной на третий этаж. Я хорошо помнил, как втискивал её в этот угол. Она не входила, и я отпилил полоску от полированной спинки. Тахты не было. Это удивило меня больше, чем всё происходившее до сих пор. Я вскинул изумленный взгляд на жену и звезды космоса вернулись на свои прежние орбиты, нейроны мозга соединились правильными цепями. Я всё вспомнил. Она это поняла по моему взгляду, её глаза разочарованно блеснули навернувшимися слезами, на лице мелькнула досада.

После той, новогодней ночи мы прожили двадцать пять лет. Трудно назвать эти годы счастливыми, но любви и страстей, отчаянья и обид было в избытке. Я вспомнил, как она умерла у меня на руках с изуродованным болезнью телом и красивым, счастливым лицом. Это произошло в другом городе, в другой квартире и даже в другой стране, а здесь она торопливо накинула на обнаженные плечи шубейку, пристально, до боли знакомо, как перед очередной размолвкой, взглянула на меня с вызовом, и я понял её безмолвный вопрос: будем ли мы супругами в следующей жизни? Мне было очень жаль, но я опустил голову и смущенно ответил «нет»!

Она хлестнула меня наотмашь по щеке, завернулась в шубейку и бросилась в прихожую. Я догнал её возле распахнутой двери на лестничную площадку, схватил за локоть, желая объясниться. Она обернулась с лицом, залитым слезами, и рассерженно вырвала руку.

— Приходи, хотя бы иногда! — жалостливо попросил я, глядя в спину торопливо сбегавшей вниз по лестнице... Ей.

Я проснулся от слезинки, жгущей переносицу, и почувствовал, что до рассвета декабрьской ночи, уже не самой длинной в году, ещё несколько часов. Но полночь прошла, и дело было не в минуте, на которую прибавится наступающий день: в космической стуже Вселенной планета Земля вместе со мной уже летела к солнцу и лету. Осторожно втягивая в себя морозный воздух через пуховую трубу спального мешка, я попробовал приоткрыть лицо, щеку царапнул лед: борода от дыхания примёрзла к ткани. Я глубже зарылся в мешок, подышал на неё, отодрал, оттаял в кулаке и открыл лицо обжигавшей тьме. По пади скатывался ровный, без порывов ветер, предвещающий устойчивую погоду. Ветки могучей ели над крышей балагана ти-

хонько поскрипывали. Продолжал совершаться великий космический круговорот. В ночной тишине тайги он был особенно явственен, чувственно глубок и полон.

Сквозь щели в стене пробивались колючие снежинки, впивались в лицо и таяли. Подниматься было рано, но и уснуть не было надежды. Я до пояса выполз из тёплого кокона, нащупал спички, чиркнул, на миг высветив балаган в четыре квадратных метра, поджёг приготовленную растопку в жестяной печурке. Затрещала сухая береста, пустив сладкий дегтярный дымок, загорелись дрова, заметались тени по стенам, по розовому узору изморози на вороненых стволах ружья. Я смотрел, как разгорается огонь, и чувственно переживал причудливый сон.

— Приходи, хотя бы иногда! — прошепелявил выстывшими губами.

Мучительно захотелось переместиться в эти сны вместе со своим стареющим телом, чтобы они, а не пошленькие воспоминания стали настоящим прошлым. Но вместо этого, в сознании крутилась какая-то бесовщина о двух жизнях одновременно: одно до конца не переходило в другое, существовало само по себе и бередило душу.

Балаган наполнялся теплом. Я окончательно выбрался из спального мешка и сел на нарах, свесив ноги на кучу сухих дров. Глядя на пляшущее пламя в печи, выдрал из усов и бороды остатки ледышек, бросил к двери, на наметённый за ночь сугроб, вытащил из спального мешка вкладыши бахил, обулся, накинул на плечи ветрозашитную куртку с башлыком и, вдвое согнувшись в двери, выбрался наружу.

Сквозь тёмное небо без звезд, как лампа за плотными шторами, расплывчатым пятном просвечивала луна. Ветер скатывался с гор и жёг лицо. Ковш Большой Медведицы должно быть уже опрокинулся, солнцестояние закончилось, наступил очередной Звездный год, Земля заходила на новый круг моей вольной жизни. Четвертый раз я переживал самую долгую ночь в этом месте, где снились причудливые сны отредактированного или идеального прошлого, задуманного Великим Творцом и реализованного мной с большими погрешностями.

Но на этот раз, в отличие от предыдущих снов, в новогоднее видение с пережитым когда-то чувственным восторгом новогодней ночи, вклинилась печальная ирреальность обычного сна. Было жаль, что не удалось проснуться в тот миг, когда я осматривал квартиру, удивлялся и восхищался, что она у меня есть. После нескольких лет супружеской жизни с мотаниями по съемному жилью, она досталась мне такими трудами и хлопотами, что в реальной памяти не было ни восторгов, ни радости.

Постояв под тёмным небом, я вернулся к раскалившейся печке, сел на нары, и подлинное, не редактированное прошлое полезло из углов балагана.

Та новогодняя ночь, пожалуй, была самой чудесной во всей моей жизни, но в действительности, которую не хотелось вспоминать, мне тогда не было слегка за двадцать лет. Я работал в районной многотиражке, а на вечер, круто переменявший мою жизнь, пришел в джинсах, свитере и крытом тулупчике, но ощущал себя при этом вполне преуспевшим, многого добившимся, и будущее в ту ночь обнадеживало иллюзиями, свойственными глупой молодости. Я пил, танцевал, вместе со всеми дергался под музыку, в черед с другими курил свою сигару и любовался девушкой, предназначенной мне в жёны. Рассудок, здравый смысл, логика событий вопили о том, что мы разные люди из разной среды, что у меня нет ни жилья, ни стабильных заработков, одни только мечты и надежды. Но победила «Воля рода» Артура Шопенгауэра. По крайней мере, в отношении меня его идеалистический

волонтаризм оказался правым: наградой безрассудной страсти стал талантливый сын.

«Забыть бы всё?!» — досадливо поморщился я, глядя на огонь, и поставил на печурку котелок, набитый снегом. Для тихой таёжной ночи он неприлично громко зашипел талой водой. Действительно, жизнь была прожита, и прожита не хуже других, душа взрощена ей, отшлифована, и перед прыжком в вечность мне дарована долгожданная свобода. Что за дело клинку до шероховатостей камня, которым был отточен?

Четыре года назад на этом самом месте я впервые увидел во сне эпизод молодости без обыденной глупости и пошлости, затем старался вспоминать его именно так. Для меня это было значимо. Многолетняя редакторская работа давала о себе знать: голова, отстраненная от чтения чужих рукописей, непроизвольно мусолила собственное прошлое, которое не поддавалось редакции.

В тот год, спасаясь в тайге от обычной хандры в дни зимнего солнцестояния, я провалился под лед горной речки, монотонный шум которой доносился до балагана. Мне удалось выбраться. Сухими оставались только шапка и рукавицы. В бахилах хлюпала вода, штаны и куртка дубели от стужи. Многие охотники гибли в подобных случаях, но я имел опыт зимних купаний и знал, что у меня есть несколько минут и спички, надежно укрытые от сырости. Снега было мало, я бросился под ближайшую ёлку, свесившую нижние ветки до земли, прикрывшие меня от ветра. Возле комля была сухая подстилка из опавшей хвои и иссохших веток.

Первым делом я освободился от панциря леденевшей одежды, наспех отбился шапкой. Обнаженное тело охватил внутренний жар. Я сел на шапку, сгреб сухую хвою и ветки, с первой спички запалил костерок чуть больше кулака. Над головой было много сухих ветвей, за дровами не надо лезть в снег, я кое-как просушил обувь, белье, вылез из-под ёлки и осмотрелся. Поблизости было много сухого валежника. Я быстро развел большой костер, возле которого окончательно просушился, отодвинул угли в сторону, запалил нодью, набросал коры и лапника на разогретую землю. Небо было чистым, смотрело на меня тысячами ярких звезд, тёмный лес с насмешливым любопытством наблюдал суетливую борьбу существа за жизнь.

Ночью случилось чудо. В прерывистых волчьих снах я увидел свою юность такой нравственной и прекрасной, какой она, наверное, была задумана Творцом, а прожита в жалком подобии по обстоятельствам, генному наследию и собственной дури. Позже я нашёл в интернете версию, объяснявшую эту странность случайным попаданием в точку пересечения невидимых линий, покрывающих планету, или в место повышенной энергетики. Математика и геофизика мне были неинтересны, причины и истоки меня не интересовали, но я почувствовал свой шанс получить другую, параллельную прожитой, память.

Весь год сон у горной речки так грел душу, что в следующее зимнее солнцестояние я снова пришел сюда на ночлег, надеясь на продолжение чуда, и оно случилось. Всё повторилось и на третий год. Стало невозможно списывать эти сны на случайности. Ночлеги у костра в декабрьскую стужу не вызывали у меня юношеского восторга: прошлым летом я построил здесь легкий балаган и вот, что-то переменялось. Кров ли над головой вместо неба, жестяная печурка, сделанная из старого ведра и куска жести, или что другое повлияло на мой нынешний ночлег, но сон не был законченной редакцией: все портила концовка, сбой, унесший меня в обычный сон, или на связь с душой покойной жены.

Связанные страстью, мы многие годы мучили друг друга, не раз пытались и не могли расстаться, а когда смирились с тем, что наш брак предопределен и расторгнуть его не в наших силах, — обвенчались в церкви. Через год открылась её болезнь, через четыре она достойно ушла из жизни или из времени, в котором мне выпало задержаться.

«Пожалуй, придется сжечь балаган!» — с сожалением подумал я, подбрасывая сухие дрова на раскаленные угли. Нынешний ночлег был приятней предыдущих, разбирать наспех построенный кров не хотелось, но больше того не хотелось путаницы во сне, которого ждал целый год, следовательно бессмыслицы этих зимних ночевков.

«Хотя, для чего? — думал я, глядя на весёлый пляшущий огонь в печке, на прокопченный котелок, все еще шипящий, но успокаивающийся, смиряющийся с жаром снаружи и снегом внутри. — Для того, чтобы мучиться несовершенством прошлого, для самообмана или познания идеала». В котелке появилась вода. На её поверхности плавали желтые иглы прошлогодней лиственничной хвои. Глядя на неё, я признался себе, что согласен на приятный самообман. А подумав, усомнился, что смогу сказать «нет» при новой встрече с бывшей богоданной женой, даже при ясной памяти пережитого.

Я неспешно позавтракал, сложил в рюкзак спальный мешок, котелок, остатки продуктов и, вытянувшись на нарах, стал ждать утра. Серело небо, обыденно рождался новый день. Земля неслась по вечному кругу, вращаясь, подставляя солнцу моря и суши.

При позднем, мутном рассвете я прикрыл дверь балагана, скинул башлык на плечи, поклонившись на сереющий восток, почитал утренние молитвы, надел на плечи легкий рюкзак, перекинул поверх него ружейный ремень, сунул носки бахил в лыжные крепления и скатился на лед речки, на свой вчерашний след. Ветер дул вниз по пади, очищая небо от распущенных облаков, обнадёживая устойчивой погодой.

Зашуршал, захрустел снег под лыжами, перемежаясь с погромыхиванием по голому льду. Предстояло возвращаться по проложенной вчера лыжне, но не к людям, а подальше от них. И был бы этот путь приятен, по сравнению со вчерашней ишачкой по рыхлому снегу, если бы не ветер, выжигавший глаза. Стряхивая остатки ночной дрёмы, деревья приветствовали меня шевелением веток в противную сторону, будто советовали поменять курс. Вскоре ветер должен был перемениться. Я хорошо знал об этом и мог бы дожидаться его перемены в балагане, но очень уж не хотелось бездельничать возле печки наедине с мыслями и воспоминаниями, а потом вернуться в своё выстывшее зимовьё ночью.

На другом конце лыжни была моя избушка. Синички и поползни, которых я подкармливал, искали в кормушке хлебных крошек и не находили их. К тому же, в честь нового звездного года надо было истопить баню, а прежде выдержать в тепле тесто: я еженедельно выпекал в банной каменке пять булок, их хватало на неделю, даже оставался запас на сухари.

На вершинах хребта, подпиравшего горную речку с востока, зарозовели верхушки лиственниц, заголубело небо. Вскоре над хребтом показался краешек солнечного диска и стал наливаться багрянцем верх противоположного, малоснежного западного хребта, желтевшего поникшей травой. Ему доставалось больше солнца и меньше снега. Я остановился, поприветствовал Небо, Солнце, Землю и Великого Творца, сотворившего эту красу.

На том же месте, что по пути сюда, откуда-то со середины западного склона донесся грозный рык, немного похожий на медвежий. Я отозвался таким же. Некоторое время зверь в недоумении молчал, потом рывкнул с обидой: дескать, чего дразнишься?! Молодой глупый изюбр, пасшийся на солнечном склоне, опять возмутился моему присутствию в облюбованном им месте.

Ветер начал стихать. Над восточным хребтом во всю округность поднялось неяркое солнце, с лёгкой грустью напомнив новогодний сон. Если бы те события происходили лет на двадцать позже, наверное, так бы все и случилось. «Значит, для меня, в моем нынешнем времени и состоянии, этот сон правдивей тех давних, подлинных событий, — думал я на ходу, — реальное прошлое пора забыть, концовку нынешнего сна сократить, как в сырой рукописи начинающего автора: «выделить» и нажать «делейт». Я мысленно попробовал сделать так — не получилось. Перед глазами стояло залитое слезами лицо упокоившейся жены, в ушах звучало моё робкое оправдание и сочувствие: «Приходи, хотя бы иногда!»

Я попробовал читать «Живый в помощи...» Но прошлое, подлинное и приснившееся, пробивали чувственные, чеканные слова псалма, как прилив решётку. Я ругнулся, мотнул бородой, забормотал в такт шагам коллаж из туристских песен молодости:

*«Забудь про всё, забудь про всё, ты не редактор, не осёл.  
Одна двустволка, две ноги. Ты — бич из черновой тайги,  
Закон таёжный не лукав, не промахнулся — значит прав...»*

Тьфу! — Попытался сплюнуть на снег, но получилось фырканье. Остановился, осмотрелся.

Береговой кедрач раскинул блеклую зимнюю зелень веток над застывшей горной речкой. Среди могучих деревьев с густой хвоей смущенно жались обнаженные березы и осины, будто прятались от глаз нежданного путника. Из сухой мёрзлой травы, присыпанной редкими островками снега, шумно выпорхнул выводок рябчиков и расселся по ветвям деревьев. Птицы с любопытством уставились на меня, не пытаясь спрятаться. Неподалеку от того места, с которого они поднялись, я заметил шевеление, остановился, вынул из кармана бинокль. Это был рябчик с перебитым или отгрызенным крылом. Неуклюже переваливаясь с боку на бок, он убежал и пытался укрыться. Нынешней ночью ему не повезло.

— Бедолага! — пробормотал я выстывшими губами, вскинул двустволку и выстрелил крупной картечью, «трехрядкой», предназначенной медведю-шату. Другой ствол был заряжен круглой пулей.

Выводок рябчиков поднялся с ветвей, тяжело и часто взмахивая крыльями, скрылся среди деревьев. Я вынул из патронника теплую гильзу с едким запахом селитры, перезарядил ружье и подошел к убитой птице. Выстрел был удачным, выпадение рябчика из времени случилось мгновенным: одна картечина снесла ему голову, другая прошла теплое тельце, но не разворотила его. Тушка была относительно цела и могла сгодиться на приправу к лапше.

— Прости, парень, но так будет лучше и для тебя тоже! — повинился я перед невольной добычей, сел на ствол упавшего сухостоя, ошипал окровавленную птицу, пока она не остыла, выпотрошил и сунул в карман рюкзака.

А замеченное снегом русло речки всё тесней обжимали склоны хребтов, прорвавшаяся, выдавленная из-под льда вода парила там, где еще вчера я проходил посуху. Приходилось обходить сырые места, выбирать на береговые камни, но



всё равно лыжи намокли и обмёрзли толстым слоем налипшего снега. Стало трудно передвигать их даже по сухой лыжне. Надо было остановиться, очистить полозья и ждать, когда они покроются тонкой корочкой льда.

На ходу я выбирал глазами удобное место для остановки и заметил под скалой рядом с лыжней что-то странное, не похожее на упавший камень. Вскинул к глазам бинокль — кабан! Видимо зверь сорвался с обледеневшей скалы. Погромычивая обмерзшими лыжами, я заспешил к нему. Ночной ветер стих, дневной еще не начался, в их равнодействии захотелось распахнуть куртку и скинуть на плечи башлык. Ветка нависшего кустарника сорвала с головы шерстяную шапочку и скинула на лед за моей спиной. Я чертыхнулся, сбросил лыжи, вернулся, хотел обругать старый куст. Но кабан продолжал лежать, и был уже хорошо виден без бинокля. Устыдившись своей горячности, я поклонился скале, деревьям, поднял и надел заолодевшую шапочку, неспешно подошел к туше.

Это был подсвинок, неосторожно подошедший к краю обледеневшей скалы. Я подумал, что зверь разбился, высматривая меня, но туша была чуть теплой, скорей всего несчастье случилось ночью или на рассвете. Я захлестнул петлей рыло за выпиравшие из-под губ клыки, подтянул тушу к удобному месту, скинул отяжелевшие лыжи, очистил их ножом от налипа, поставил полозьями к солнцу, развел костер, навесил над огнем котелок со снегом и только потом принялся разделять подаренного мне зверя. Его внутренности, отбитые и окровавленные, были теплыми и грели руки. Я вынес их на берег и бросил под лиственницу, затем отрезал ноги по суставам, приподнял тушу — в ней было килограммов пятнадцать. Шкурить кабана, да еще остывающего — дело не быстрое, но тащить на себе треть ненужного веса — того хуже.

Внутреннего тепла зверя хватало, чтобы не обморозить руки, но все равно, то и дело приходилось их греть у огня. Закипела вода в котелке, напел чай из чаги. Окровавленными пальцами я подсластил его остатками сахара, напился, погрыз сухарей. Это был вынужденный обед. Дошкурив нечаянную добычу, с сожалением отделил от туши голову, обмотал её шкурой и вместе с копытами спрятал в ветвях кедра.

Чистого мяса было килограммов десять. Я завернул его в сменную рубашу, уложил в рюкзак, остатками чая обмыл от крови руки, насухо вытер их полкой свитера и просушил над углями затухавшего костра. Солнце стояло в зените, снег слепил глаза. К этому времени я рассчитывал добраться до зимовья, но не подобрать добычу, подаренную тайгой, не мог: такая неблагодарность могла обернуться долгими и многими невезениями.

Через час монотонной ходьбы с тяжелым рюкзаком я уже основательно выдохся, сбросил лыжи, сел на них, вытер разгоряченное лицо проволглрой шерстяной шапочкой. Мокрая рубаша под сырым свитером холодила тело, ныло колено с надорванными связками.

— Однако?! — пробормотал я под нос. — Уже не тридцать, и даже не пятьдесят!

Отдышавшись и слегка остыв, туго перетянул колено сырым шейным платком и снова встал на лыжи. Надо было спешить, чтобы вернуться засветло, если, конечно, опять чего-нибудь не случится. Совсем не лишний груз мяса стал раздражать, в отместку прут молодого кустарника больно хлестнул по лицу. «За что?» — просипел я, и приложил к щеке обледеневшую рукавицу. Огляделся.

Сугробы на северном склоне были вытоптаны и на добрый десяток шагов обрызганы кровью. Здесь рысь поймала зайца и перед завтраком долго забавлялась

с подранком. Косому экстремалу не повезло этой ночью, как и тысячам других таёжных существ, закончивших жизнь: судя по следу, заяц хотел подразнить кота, который по заячьему соображению догнать его не мог. Но рысь оказалась хитрей, и остались от зайчика хвостик да лапка с черными когтями. А кот, полежав на берегу трухлявой березы, неспешно засеменял по моей лыжне к зимовью.

Я познакомился с ним в конце октября. Молодой рысенок, впервые зимующий самостоятельно, повадился греться возле трубы на чердаке моей избушки. Ленивый, как все коты, он часто ходил по моим следам, чтобы не топтать целик сугробов, и пока не пакостил.

За крутым поворотом пади русло речки резко расширялось. Хребты расступались, склоны берегов стали положе и были покрыты густым кедрачом. След рыси оставил мою лыжню и скрылся в лесу. Я стал двигаться медленней, осторожней, стараясь не греметь лыжами по открытому льду, внимательно осматривал подходы к зимовью. Чужих следов не было, дверь прикрыта и подперта жердочкой, так, как я её оставил, окно затянуто куском полиэтилена. На всякий случай я высмотрел в бинокль подходы, не заметив подозрительного, пробормотал: «Защити, Господи, от нападений зверя лютого, от встречи с человеком всяким!» — перекрестился, не снимая рукавицы, и быстрее двинулся к избушке, построенной в этом месте для постоянного жительства в моей свободной жизни.

Невидимые издали, следы все-таки были: рысенок дневал или ночевал возле холодной трубы, среди навешенных рядами берёзовых и осиновых веников. Прикормленный горностаем навещал зимовье через свои подкопы и лазы. Я скинул лыжи, очистил их от налипшего снега и поставил, прислонив к срубам. Из раскрытой двери пахло выстывшим жильем и золой. Печка была заряжена, схватилась от первой спички. Приветствуя меня, весело загудела жестяная труба. Я бросил на нары рюкзак, вытряхнул из него тушу убившегося подсвинка, оттянувшего мне плечи, спальный мешок, котелок, остатки продуктов, которые брал в балаган, достал остывшую тушку рябчика. Кабанятина была мягкой. Прежде чем забросить мясо в лабаз, нужно было его проморозить. От одной мысли, что надо нести лестницу, затаскивать наверх тушу, мне стало плохо.

Хотелось откинуться на спину, лежать, пока не отпустит тупая боль в суставах и пояснице, не успокоится сердце, гулко бившее в виски густой кровью. Ещё надо идти за водой на речку, а прорубь, конечно же, затянулась крепким льдом. Не переодевшись в сухое, перебарывая усталость, я выбрался из избушки с тушей на руках, накинул веревку на ветку ближайшего дерева, привязал к ней свою случайную добычу. Растопырив обрезанные по суставам ноги, безголовый кабанчик повис в метре над снежным покровом.

Ветра почти не было. Солнце скатилось за хребет, прощаясь, холодно блеснуло последним лучиком, чиркнувшим по верхушкам деревьев. В лесу было еще светло, а в зимовье стало сумеречно от оконца, для сохранения тепла обитого полиэтиленом изнутри и снаружи. Весело плясали по стенам отблески огня из печки. Я подбросил в неё дров, скинул и повесил на просушку сырую рубаху, надел свитер на голое тело, поверх него холодную пуховку, затворил за собой дверь и присел на крыльце из расщепленных лиственничных чурок. Белый как снег, трудноразличимый на нем, откуда-то выскочил горностаем. Метнул быстрый взгляд на подвешенное мясо, затем пристальный и оценивающий на меня. Черные глазки азартно блеснули. Решив, что я не опасен, горностаем дернул белым хвостом с черным кончиком, прыгнул, пытаясь достать тушку, не достал, снова метнул на меня оценивающий взгляд и стал прыгать раз за разом.

Я долго смотрел на его попытки добраться до дармового мяса, не выдержав, посоветовал:

— Устал ведь, может быть, подумаешь... — указал глазами на ствол дерева, намекая, что к мясу можно спуститься по веревке. Зверек намека не понял.

«Что тут думать — прыгать надо!» — бросил на меня скольльзящий взгляд и скакал до тех пор, пока я не отрезал ему кусок с брюшины.

Схватив его, зверек исчез за углом.

Избушка прогревалась. Я снова подкинул дров в жестяную печку, взял ведра, перекинул через плечо ружейный ремень и отправился к речке. Прорубь затянута толстым льдом. Под деревом стояли пешня и лопата. Я поставил на их место ружьё, раздолбил прорубь, очистил, набрал в ведра чёрной, студеной воды, опять перекинул через плечо ружейный ремень и вернулся в зимовье.

Таскать двустволку, даже когда отходил от избушки на десяток шагов, не было прихотью. Споры со здешним медведем начались еще во время строительства. Но тогда он был молодым и добродушным, если начинал реветь вблизи, я дергал стартер бензопилы, а она у меня заводилась с первого оборота. Медведь пугался резкого звука, поспешно убегал и не беспокоил меня неделями. Но время шло, он взрослел, старел и наглел. Однажды разворотил крышу, изорвал мою сменную одежду. В другой раз влез через дверь, выбросил наружу печку, измял алюминиевую кастрюлю. Уже старый и опасный, прошлой осенью среди ночи полез в окно, вышиб стекло и просунул голову. Я дал дуплет пульей и картечью, стрелял в упор с подствольным фонарём, промахнуться не мог. Зверь взревел, вывалился за стену. Я перезарядил ружьё, выглянул из вынесенного окна, поводит под ним фонарем — медведя не было. На рассвете с ружьём наперевес, осторожно вышел из зимовья, надеясь увидеть тушу поблизости. Стена под окном была в крови, желтая заиндевевшая трава на полсотни шагов забрызгана кровью, дальше след терялся.

Несколько дней сряду я искал убитого зверя вблизи от зимовья, расстрелял пачку патронов по корягам и пням, за которыми мог прятаться подранок — все зря. Жизнь в тайге принимала военный оборот. Если моего медведя не съели его соседи и кабаны, он должен был начать охоту на меня, а это совсем другое дело, чем охота человека на зверя. При встрече с подранком у меня были далеко не равные с ним шансы остаться в живых, даже с огнестрельным оружием против когтей и клыков. Поэтому, даже поблизости от жилья приходилось держать ружьё под рукой.

Между тем день, начавшийся в балагане на пересечении каких-то невидимых линий магнитного поля Земли, сменила темная безлунная ночь. Я снял с чердака берёзовый веник, принес из бани бочонок, сделанный из берёзового капа. В него входило три ведра воды. Летом он стоял в зимовье на видном месте, долго сохранял воду свежей и холодной. Причудливого вида наружное углубление, похожее на человеческий глаз, казалось мне живым, смотрело с важностью и достоинством, могло менять выражение в зависимости от настроения. По моим ощущениям, бочонок был обидчив и капризен. Зимой я выносил его в баню, чтобы не разморозить до трещин. Этого небрежения он понимать не хотел. Его глаз то рассерженно, то печально приуживался, сучки на шершавом лице укоряли за то, что были убраны с видного места. Но теперь, в избе, наполненный водой, с торчавшим веником на манер еврокосички, глаз бочонка подобрел и утешился, исполнившись чувством собственной значимости, поскольку был при деле.

Я заперся в жарко натопленном зимовье, сбросил верхнюю одежду, завел опару, поужинал подоспевшей похлебкой с рябчиком. Затем, при свете керосиновой

лампы, долго пил бадановый чай, цыкал меж зубов, вычищая остатки пищи, без мыслей глядел на угли в печке. Потом, оставив пустую кружку, с удовольствием вытянулся на нарах. Планируя следующий день, жевал листовенничную смолу вместо чистки зубов. Покой ночи схлестнулся с памятью многолетней давности. Усилием я остановил воспоминания той, прожитой жизни, выплюнул на горячую печку смолу, зачем-то прошептал: «Приходи, хотя бы иногда!», задул лампу и укрылся пуховым спальным мешком. Остро запахло душистой смолой и горелой соляжкой, перемешанной с бензином. Смола приглушенно шипела, наполняя избушку духом тайги.

То и дело сбиваясь в глубокую дремоту, я еще пытался мысленно дочитать вечерние молитвы, когда послышалось шебаршение под нарами. Это вернулся горностай. Он погромел консервной банкой, в которой я оставил ему косточки рябчика, зазвенели кружка и ложка на столе, зверёк пробежал по спальному мешку, которым я укрылся с головой, опять сиганул под нары. Придавлено пискнула мышь, решившая поживиться остатками ужина, и зимовье накрыла тишина, изредка прерываемая легкими порывами ветра. Вкупе с ощущением легкости и свободы, которое давала многокилометровая удаленность от людей, звуки зимней ночи убаюкивали, уносили в мир, из которого приходили сны, в последнюю ночь солнцестояния. Под утро послышался скрежет когтей по срубам, зашелестели сухие веники, развешанные под крышей, сквозь сон я понял, что рысь забралась на чердак погреться. Вспомнилось неприбранное мясо, но подниматься не было сил, и я снова погрузился в глубины спокойного сна.

Редела долгая ночь, во тьме стало смутно высветиваться оконце, я приоткрыл глаза в сумерках позднего зимнего утра. Камни, которыми была обложена жестяная печка, вчера не успели прогреться, избушка выстыла. Пуховка лежала в изголовье вместо подушки. Я выполз из-под спального мешка, накинул её на плечи, чиркнул спичкой, снял закопченное стекло с лампы, на ощупь убрал нагар с фитиля. Потрескивая и постреливая искорками, он разгорелся, а под стеклом расправился и засветил в полную мощь. Лампа была старой, служила мне лет тридцать, а до того — другому охотнику. Я спохватился: не замерзла ли опара. Соскочил с нар, сунул руку в кастрюлю, опара была холодна, но не покрылась льдом. Утро нового дня, прибавившегося еще на одну минуту, начиналось обыденно: я растопил печку, поставил чайник, позвякивавший льдинками, долго сидел, глядя на огонь, мысленно перебирая остатки снов: ни к добру, ни к худу.

День предстоял хозяйственный, все дела предполагались возле дома, удач ждать не с чего, а без мелких неурядиц не обойтись. Я резко вспомнил про мясо — цело ли? Распахнул дверь. Сумерки переходили в мутный рассвет. Расшиперив культы ног, туша висела на прежнем месте и на первый взгляд казалась вполне целой. Крупных следов под ней не было. Низкое небо без звезд укрывалось плотной серою пеленой. Голые березы и кедры в хвойных шубах неприязненно воротились от дыма, стекавшего с крыши моей избушки на заметенную снегом землю. В сонной тишине тайги ощущалась близость снегопада. Я подхватил ружьё и перешагнул порог: каким бы ни был наступивший денёк, мои дела не зависели от погоды.

Почитав утренние молитвы, поприветствовав Небо, Солнце за облаками, Землю и их Создателя, вернулся в тепло жилья, отвоеванное у зимней стужи, неторопливо позавтракал, напился чаю, посидел возле печки, прислушиваясь, не оставила ли теплую лёжку длинноногая квартирантка. Мои движения должны были пу-

гать рысь, а близившийся снегопад — убаякивать. В такую погоду звери обычно отлеживаются, хотелось и мне залезть в спальник сразу после завтрака. С баней можно было подождать, тесто заморозить. С четверть часа я сидел в ленивом раздумье, затем вздохнул и надел шапку.

Перво-наперво, надо было принести хворост и растопить каменку. Перебарывающая старческую леность, навеванную погодой, я вышел из зимовья, плотно затворив за собой дверь, направился вглубь леса, стал ломать нижние, иссохшие ветки с деревьев. Всякий излом звучал как пистолетный выстрел и безобразил таёжную тишину. Моя киска, не выдержав шума, соскочила с чердака и засемила в гору, где среди камней было много укрытых от ветра мест. Я успел увидеть её длинноногий куцый зад. Жаль было портить зверю отдых, но у меня скопились важные дела. С охапкой сушняка в руках я протиснулся в низкую банную дверь, разжег огонь в каменке.

Моя банька была наполовину врыта в склон горы, крыша и стены утеплены землей. Топилась она по-черному, не потому, что я не мог сделать трубу, но для удобства выпечки хлеба. Банька была мала: мыться и париться можно только сидя, в каменку вмазана половина бочки, сделанной во времена СССР из толстого железа. На хорошую помывку со стиркой требовалось четыре ведра кипятка и столько же холодной воды. Холодную я заливал в бочонок из березового капа, который опять вернул в баню, к нему прилагался такой же ковш. На их изготовление у меня ушло едва ли не половина одной из зим, но я был доволен работой и тем, что вложил дух и жизнь в часть больной, умиравшей березы. Бочонок, несмотря на возвращение в баню, одобрительно поглядывал на меня шлифованным глазом. Размякший и разомлевший за ночь, в нём распластался берёзовый веник.

Полулёжа на осиновом тесе пола, я подбросил крупных дров на бойко горевший сушняк, дым поднялся к черному от сажи потолку, потянулся наружу через распахнутую дверь. В мечущемся пламени мне представлялись лица друзей и знакомых, задававших глуповатые вопросы: не скучно ли в лесу? Да еще одному? Выживать бывает трудно, но не скучно. Наверное, так! И моё одиночество скорей вынужденное, чем добровольное. Здесь я мысль, без возраста и суеты, существующая в величественной и спокойной среде. В городе я тоже мысль, но мельтешащая, загнанная в суетливый муравейник, в чуждый мне конвейер с шумом, вонью, всегдашним раздражением. У каждого одиночки есть на то своя причина и свой выбор. Я знал отшельников, одиноко живущих в тайге из-за слабости к спиртному и криминального прошлого. В городах и сёлах одни спивались, другим не давали жить законники.

Я вздохнул, выполз из баньки, снял ружьё со штыря рядом с распахнутой дверью, из которой клубами валил дым, перекинул через плечо ремень и отправился к речке долбить прорубь, которая, конечно же, затянулась за ночь крепким слоем льда.

После полудня баня потрескивала от жара, тесто в формах поднялось. Я выгреб угли из каменки, сунул в топку руку: первое время определял нагрев бумагой, которая должна желтеть, но не загораться, теперь обходился так. Посадил в каменку формы с приподнявшимся тестом, принес в избу горячей воды и, пока выпекался хлеб, выстирал бельё, вкладыш спального мешка, замоченную с вечера рубаху с кровавыми пятнами кабанчика. Едва развесил постирушку, испёкся хлеб. Я это понял по запаху, стекающему к зимовью от бани. Поспешил туда, вытряхнул булки из форм на чистую рубаху, принёс в избушку и укрыл спальным мешком. До конца беспокойного дня оставалось только попариться, помыться да поднять

мясо в лабаз. Я постучал по подвешенной туше тыльной стороной ножа, она была крепка как камень.

Печка в зимовье почти весь день тлела, но от частой беготни жильё выстывало. Я подбросил дров для жара, разделся и голышом, в одних опорках, с ружьем в руке отправился к бане. Тело приятно окатило стужей, стало покалывать невидимыми ледышками бусившего снега. Развешенная стирка была бела. Гасло небо, деревья, продремавшие весь день, ещё ниже склонили кроны. Я повесил заряженное ружье с наружной стороны возле банной двери, обмел голяком сажу с потолка и стен, закрылся, посидев до первого пота, зачерпнул из повеселевшего бочонка воды березовым ковшом, сделанным наподобие пригоршни руки, плеснул на каменку. Тело обдал едва терпимый жар.

Уже во тьме, распаренный и помытый, вернулся с ружьем в прохладное зимовье, зажёл керосиновую лампу. Обнаженное тело парило и пахло берёзовым листом. Обсыхая, я поставил на печку выстывавший чайник, отломил тёплый ещё кусок выпеченной булки, пожевал. Хлеб нужно было заморозить, а выходить из зимовья, опять лезть в лабаз очень не хотелось. «Мышей горностаи усмирил, — подумал, с ленцой отхлебывая травяной отвар из кружки, — сам до хлеба не охоч, вдруг и не погрызут выпечку до утра?!»

Тело обсохло, и начало знобить. Я надел чистую рубаху, пахнущую свежим хлебом, чистые подштанники, и откинулся на нарах. До ленинского Нового года, который шумно празднуют в городах, можно было не беспокоиться ни о хлебе, ни о помывке.

Тихая, безветренная ночь чуть слышно шелестела снежинками, леденила выстиранную одежду. Я слегка приоткрыл дверь, впустить ночь в жильё, поприветствовал её сквозь щель, попросил себе крепкого сна и отдыха, исцеления от недуг, освобождения от навязчивых воспоминаний. Горностаи не появлялся. Под нарами осторожно зашебаршила осмелевшая мышь. Я повесил мешок с хлебом на гвоздь в стене, придвинул ружье к изголовью, закрепил подствольный фонарь, забрался в спальный мешок с чистым вкладышем и задул фитиль лампы.

Помывочный, хлебный день с низким небом и снегом изрядно вымотал. К радости моей квартирантки я мог бы, как зверь, переждать его, лёжа на нарах, но тогда всё, что сделано сегодня, пришлось бы делать завтра. Довольный собой, я перекрестился поверх спальника, стал мысленно читать вечерние молитвы, то и дело сбиваясь и сонно путаясь в словах. Всплыло в памяти: лестничная площадка, лицо покойной жены, залитое слезами, моя просьба при расставании. Неотредактированное, изжившее себя во времени прошлое попыталось влезть в душу, но усталость взяла своё. С ощущением чистоты тела и постели пришел сон.

Проснулся я в темноте, ощущая близость утра, осветил фонариком на часы — половина седьмого. До рассвета — два часа. Под нарами бесчинствовал и наводил порядок горностаи, с чердака не доносилось ни звука. Зимовье выстыло, но не сильно. Я зачерпнул из ведра холодной воды, сделал несколько глотков, снова завернулся в спальный мешок, вскоре понял, что уснуть не смогу, потянулся до хруста в костях, растер лицо руками, размышляя, как прожить новый декабрьский день с мясом, свежим хлебом и опасностью встречи с шатуном. Поздней осенью я обшарил весь юго-запад, выскивая его тушу: туда указывал кровавый след. Пожалуй, стоило осмотреть и противоположную сторону: вдруг раненый зверь в каком-то месте поменял направление. Ради этого стоило потратить очередной зимний денёк.

Я зажег лампу, высветив венцы сруба с торчавшим сухим мхом, сел на нарах, натянул поверх рубахи холодный свитер, оделся, растопил печку, накинул на плечи пуховку и вышел. Снегопад был недолгим и прекратился ночью. Небо очистилось от низких туч. В полуденной стороне догорала едва различимая Утренняя звезда — планета. С чердака спрыгнула длинноногая кошка и с недовольным видом удалилась в мрачный холодный лес.

Я отклонялся на тёмный ещё восток, почитал утренние молитвы, попросил у святого покровителя удачи на день. Затем приставил к лабазу лестницу, забросил туда четыре булки остывшего хлеба, скинул на снег бурую от крови, смерзшуюся лопатку кабаньей туши. Спустившись, порубил её топором на пне, сложил куски в черную от копоти, помятую медведем кастрюлю, залил водой и поставил на печку. Хотелось позавтракать свежим хлебом с сахаром: но, пост постом, а поход походом, и в дорогу надо было подкрепиться мясом. Я отрезал от булки свежую корку и, пока варилась кабанятина, пожевывая, стал собирать рюкзак: сложил в него спальный мешок, хлеб, котелок, сахар.

Едва мясо доварилось, посветлело затянутое полиэтиленом оконце. После сытного завтрака захотелось полежать, что я себе и позволил в согретой избушке. Остатки начатой булки сунул в пакет и повесил к потолку. Хотелось провалиться до полудня, но утро обещало погожий день. Я отложил лёжку на непогоду и неохотно вышел из избушки. «Ненадолго! — пообещал ей, похлопав рукавицей по венцу. — Жди!» — Накинул на плечи лёгкий рюкзак, подхватил ружьё, встал на просохшие лыжи и двинулся к северу, чувствуя на себе укоризненный взгляд зимовья.

Маршрут предполагался в противоположную сторону от направления следа ушедшего подранка. У подножья хребта скопилось много рыхлого снега, лыжи глубоко проваливались в него, за спиной оставался рваный, неровный след лыжни. До пади, которую я хотел осмотреть, летом можно было дойти за полчаса, но заметенный сугробами бурелом быстро вымотал: взмокла спина, студеный воздух колко входил в разгоряченные ноздри. Наконец показался скрытый деревьями распадок. Я случайно нашел его несколько лет назад. Издали падь была незаметна, казалась обычным склоном со стекающим по нему ручьем, который терялся в болотце. Я задумался, откуда он мог течь, поднялся по нему и вместо родника обнаружил за деревьями скрытую ложбину.

И вот, снова карабкался, теперь уже по застывшему ручью. Крутой склон был обдут ветрами и не обижен полуденным солнцем, снега здесь было мало. Я скинул лыжи, подвязал их за отверстия в загнутых концах, выпуская за собой репшнур, полез вверх. Передо мной открылась небольшая долина, заросшая колками толстых осин и вековых лиственниц. Я вытянул за собой лыжи, сунул носки бахил в крепления, снова стал топтать лыжню. Снега в пади было так же много, как и внизу, ноги с лыжами проваливались почти до колен, но бурелома меньше, идти легче, чем под хребтом.

Через полчаса ходьбы я увидел стаю ворон, сидевших на верхушках деревьев. Птицы беспокойно перелетали с места на место и шумно выясняли отношения. Я направился напрямик к птичьему базару. Вороны заметили меня, стали громко возмущаться появлением незваного гостя, беспокойно перелетали с места на место, но не разлетались. Из-под нижних ветвей изрядно обгаженной пихты поднялись и тяжело замахали крыльями несколько обожравшихся птиц.

Не обращая внимания на их галдёж, я подошел к пихте, отодвинул стволом ружья испачканные пометом ветки и увидел его. Голова зверя была так расклевана,

что невозможно понять, куда угодил мой дуплет. Раны оказались смертельными, но истекающий кровью зверь ещё смог пройти изрядное расстояние. Расклеван был его пах, выклеван почти весь кишечник, задние лапы медведя скрывались в снегу. Наверняка у него была берлога, и даже не одна, он шел к ней в надежде выжить и перезимовать. В этом месте силы оставили зверя, но он до конца боролся за жизнь, и даже пытался прикрыть себя ветками с наветренной стороны. Вид его тела вызывал сострадание.

— Прости, брат! — пробормотал я, опуская раздвинутый лапник. — Не моя вина, что пришлось защищаться и стрелять.

Я развернулся и по проложенной лыжне быстро вернулся в зимовье. Избушка радостно встретила меня не выставшим еще теплом и запахом свежего хлеба. Я бросил рюкзак на нары, подкинул дров, зажег кусок бересты, пустившей приятный дегтярный дымок, и заново растопил печку. Теперь со спокойной душой можно было отдохнуть, отлежаться и пообедать почти свежим хлебом со сладким чаем, и не возле костра, а в домашнем уюте.

Настал ранний тихий вечер. В сумерках над западным хребтом показался тонкий серпик народившегося месяца. Предвещая снегопады, похожий на лодку, он лежал едва ли не на выгнутой спинке, задрав острые рожки, не к востоку, откуда должен был прибывать, а к Полярной звезде. Денег при мне не было, чтобы показать ему: они оставались на карточке, и за три месяца, которые я не снимал пенсионных переводов, должна скопиться приличная сумма. На небе с редкими облаками одна за другой зажигались звезды. Я распахнул настежь дверь, приглашая в дом Тёмную ночь для крепкого сна и отдыха.

«Пора, мой друг, пора!» — пробормотал, недоверчиво прислушиваясь к своему голосу. И хотелось, и не хотелось спускаться в поселок. Мясо есть, муки и круп хватит на месяц. Кончился запас подсолнечного масла, но можно было обойтись без него. В октябре культурным посолом без варки и кипятка я посолил сало дикого кабана, и получил жвачку, которую можно было положить в рот на завтрак, жевать весь день и выплюнуть к ужину. Пришлось перекрутить посол мясорубкой и перетопить на сковороде. Голод не грозил. Вот только народившийся месяц обещал завалить снегом путь к людям, и тогда доставка продуктов потребует очень больших трудов. К тому же, два месяца я жил без сливочного масла, хотелось жирной аллюторской селедки и картошки. Ночная тишина обволакивала приятной ленью, медлительные, спокойные мысли то и дело прерывались короткими волчьими снами. «Готовить дрова никогда не поздно, было бы чем растопить печку при возвращении!» — окончательно решил я.

Под нарами послышался знакомый топот. Я вздохнул, протер слипавшиеся глаза, встал, развел в консервной банке остатки сухого молока и выставил в обусловленное место. Через минуту послышались знакомые звуки: горностаи лакали договорную плату за истребление мышей, которые временами доводили меня до таких страстей, каких я никогда не испытывал на охоте. Слегка погремев жестью, зверек принялся наводить порядок. Чтобы не мешать ему и не пугать, я лёг на спальный мешок и затих. Прогоравшая печь потрескивала углями, погромыхивала жестяной трубой, чадила соляжкой керосиновая лампа. В полумраке носился по избе горностаи, перепрыгивал со стола на нары, перебегал по мне, выискивая ему одному понятный след добычи, которую я с большой радостью уступал желанному гостю. Отработав свое, он затих, видимо выскочил из зимовья только ему и мышам известным лазом.



«Пора, мой друг, пора!» — опять пробормотал я, прислушиваясь к своему почти незнакомому голосу, и стал думать о сборах в путь. С тем незаметно уснул. Проснулся в ночи, задул лампу, прислушался к чердачным звукам: похоже, рысь всё ещё охотилась. Если я уйду, выставшая избенка останется в её полном владении, но труба и присыпанный глиной потолок греть не будут, разве двускатная крыша слегка прикроет от ветра. Не бросить ли ей пуховку — сонно думал я. В пути она мне не понадобится, хотя?.. Может сгодиться в балагане. И не отпугнет ли её запах квартирантку? С теми ленивыми мыслями опять уснул и проснулся затемно, чувствуя, что рассвет близок, чиркнул спичкой, зажег лампу. С недовольным видом она стала потрескивать фитилём и раздражённо мигать, на что-то намекая или предостерегая. У неё была душа и свой, мне одному понятный характер. Но за продуктами идти надо. Раньше или позже, без этого не обойтись.

Не хотелось вылезать из спального мешка, но печка выстыла и была не заряжена. Я лежал и полусонно вспоминал, каких трудов стоило сделать её из той же бочки, что и банный котел, сколько пил по металлу было при этом сломано. Трубу я склепал из жести в селе, в доме друга, с которым в прошлом охотились в паре, нёс её по тайге под клапаном рюкзака, звон и скрежет разносились на километры, она отчаянно цеплялась за кустарник и ветки, будто вопила: куда ты меня и зачем? Я злился, грозил бросить её, обзывал дурой, прельщал прекрасной судьбой таёжницы. Теперь она была при деле и на своём месте.

Покряхтев и пошмыгав носом, пришлось выбраться из спального мешка, кинуть на плечи пуховку. Сладко задымила береста на выстывших углях, легко схватился пламенем сухой хворост, весело загудела труба, от печки пошел приятный жар. Я полностью оделся и вышел за порог без ружья. Серело небо, между облаков блекло мигали последние звезды, призывая новый день. Я умылся снегом, встал лицом к тому месту, где зимой от первых лучей розовел хребет, читал утренние молитвы, отклонялся, пожелал вечно здравствовать Синему Небу, невидимому еще Солнцу, Земле и их Создателю, попросил доброй погоды, пути без препятствий, слегка продрогший и бодрый, вернулся в зимовье.

Избушка уже наполнилась живым теплом. Я позавтракал разогретым мясом, оставшийся кусок выложил на сковороду, чтобы остыл и подсох в дорогу. Глядя на тлевшие угли, долго сидел, цыкая остатками зубов, думая о трудностях предстоящего дня. Затем, со вздохами, поднялся, подпёр дверь жердью, спрятал ружьё, замел следы вокруг зимовья, накинул на плечи рюкзак, сунул ноги в крепления лыж, подхватил веревку нарт и налегке заскользил к балагану. Ветер дул в спину, холодное солнце багровым полукругом тлело над хребтом. Затем, будто освободившись от припекшейся скорлупы, поднялось над падью и ярко засветило. День начинался удачно. Лыжи не мокли, легко катились и тихо шуршали по лыжне, присыпанной свежим снегом. На какое-то время ветер, дувший в спину, стих, потом переменялся и потянул в лицо. Видимо встречный ветерок и почти бесшумное скольжение по свежему снегу стали причиной того, что я заметил трех волков раньше, чем они услышали меня.

Серая братва что-то торопливо грызла на льду, почти в том самом месте, где я разделявал поросенка. Я замер, потянулся за биноклем, но каким-то звуком выдал себя. Волки мгновенно кинулись врассыпную: один на восточный склон, другой на западный, третий, мелькая серой спиной, ушел в низовья речки. Я сунул бинокль обратно в карман, подошел к месту пира. На льду валялась обглоданная голова подсвинка, рульки, из которых я хотел сварить холодец, и разодранная шкура.

«Да как же вы достали мою хованку?» — удивился я, сбросил лыжи, подошел к дереву, в ветвях которого прятал остатки туши. — Для того, чтобы сбросить её на землю, мало было трехметровых прыжков в высоту, надо лезть между ветвей. Следов воронья не было. Снег под деревом так вытоптан, что понять что-либо невозможно. «Сам скинул, что ли?» — Задирая голову, я пошлепал рукавицей по стволу кедра. Удивляясь странностям, снова встал на лыжи, пробежал сотню метров по застывшей, заметенной снегом речке, остановился, стал высматривать кедр в бинокль и увидел возле вершины рысь, обхватившую лапами ствол. Повисев, она начала тихонько спускаться, куцым задом вниз.

Я рассмеялся, укладывая на место бинокль:

— Что? Хотела скрысятничать? А поесть не дали.

Видимо, моя квартирантка не в лучшее время скинула на землю шкуру с головой и костями, вскоре была загнана на дерево и смотрела, как волки грызут мясо, которым хотела полакомиться сама. Лыжи снова бесшумно заскользили по присыпанному снегом льду. Почти на том же месте, что и в прошлый раз, меня обругал молодой и глупый изюбрь. Я спешил и даже не ответил ему. Почти не утомившись, добежал до конца лыжни против балагана, осторожно обошел kloкочущий подо льдом водопад, под который когда-то провалился, сбросил лыжи, поставил нарты полозьями к солнцу и поднялся на берег.

Возле балагана еще не замело мои следы. Я протиснулся внутрь, сбросил рюкзак, вытащил хворост из-под нар, стал с хрустом ломать и набивать печурку. Балаган наполнился дымом, приветствуя меня, своего создателя, ведро, которому я дал новую жизнь в виде печки, загудело и стало наполнять жилуху теплом. Я вытащил из рюкзака походный котелок, набил снегом, поставил на огонь и стал оттаивать хлеб. Предстояла вторая, не равная первой половина пути.

Я переночевал, а на рассвете отправился дальше, предполагая, что приду в село до сумерек. Но случилась неприятность: проломился лёд, правая нога с лыжей ушла под него. Падая, я успел лечь на нарту, не намок, но долго провозился, чтобы достать лыжу и просушить её. К закату солнца была пройдена только половина пути. Я остановился отдохнуть возле старой толстой валёжины, присыпанной снегом. Здесь была одна из моих «телефонных будок», куда доходила волна сотовой связи. Мобильник включился, поймал волну, запищал непринятными смс. Заряд батареи был почти на нуле, но его могло хватить на звонок. Телефон пустил два гудка, сдох и отключился.

В сумерках я несколько раз присаживался, высматривая место для ночлега, но не решался остановиться, потому что обустроиваться пришлось бы до полуночи. Посидев и отдохнув, тащился дальше. Напрочь обессиленный, вышел к поселку поздним вечером. Людей на улице не было. Ярким электрическим светом сияли окна домов, из кирпичных и жестяных труб гнулись по ветру дымы, приторно пахло горелым углем. Непонятно откуда доносились тупые ритмы ударников без музыки. Я добрался до дома товарища, вошел в знакомый дворик. Тупые звуки стали громче, заглушили другие, послышалась сопровождавшая их музыка. В прошлом с хозяином дома мы охотились в паре: он приносил удачу в добыче, но плохо переносил тишину и одиночество, доставал нежеланием проверять путики в одиночку.

В чисто прибранных, покрашенных сенях ударник и мелодия резко стихли, громко залопотал диктор. Стучать в дверь не было смысла. Я толкнул её и вошел без разрешения. Резкие звуки наотмашь хлестнули по лицу, студёная волна следом за мной раскатилась по полу. В доме было жарко.

— Какие люди?! — раскинул руки Игорь. — Живой? А я уже звонил твоему сыну, думали, не звать ли на поиск эмчезсников...

Игорь выглядел слегка погрузившим, веселым и вполне довольным жизнью. Его жена, Марина, всплеснула руками, весело засуетилась возле электрической плиты. Их дочь жила и работала в городе, частенько навещала родителей-пенсionеров, привозила на лето детей. Без них дом товарища казался непомерно просторным.

— Неужели с октября, безвылазно? — торопливо расспрашивал Игорь. — Одичал?

Он задавал вопрос за вопросом, а я, снимая сосульки из бороды и усов, морщился и напрягал слух, чтобы разобрать его голос среди лопотанья, воплей, восклицаний, музыки, рвавшихся одновременно с разных каналов телевизоров: одного на кухне, другого в комнате. Скинул на плечи башлык, промерзшими пальцами постучал по ушам. Игорь подхватил пульт, убавил звук на кухне, помог освободиться от рюкзака.

— Говорить вроде не разучился, — пробормотал я, сдирая с плеч сырой от пота свитер, скинул мокрую рубаху, повесил над печкой. Марина принесла свежую поглаженную рубашку мужа.

— Сперва душ! — потянул меня за руку товарищ. — У нас всё цивилизно! — при этом он расспрашивал: — Надолго ли в люди? Какие планы?

— Забросить продукты, пока не завалило снегом. Поможешь?

Игорь был мужиком домашним и семейным. Его устраивали быт, хороший теплый дом, мебель, изготовленная своими руками. За время, пока мы не виделись, он выгородил от просторной кухни комнатку, устроил в ней душ от электрического нагрева воды, вполне городской туалет с белым блестящим унитазом, с гордостью показывал мне свои обновы и поучал:

— К старости надо готовиться загодя!

Я ополоснулся под душем, утерся свежим полотенцем с душистым запахом мыльного порошка, взглянул на себя в зеркало и слегка оторопел: из зазеркалья смотрел старик. В белом сугробе мокрых волос и бороды пылало красное как помидор, обветренное лицо. Игорь тоже был сед, но коротко подстрижен и чисто выбрит. Его лицо казалось серовато-белым, хотя жил не в городе и дышал почти чистым воздухом.

— Кра-са-вец! — пробормотал я, удивленно разглядывая себя.

— Подстричь, побрить, помазать сметаной, можно и женить, — рассмеялся товарищ, помогая Марине выставлять на стол закуску. — Одиноких женщин много.

— Я бы не против, да где найти такую дуру, которая согласится жить в тайге. Нынче, наверное, и эвенкийку не прельстишь?!

— Перебирайся в деревню! Чего одному куковать — не пойму?

Этого он никогда не понимал.

— Или построй в тайге хороший дом с удобствами, — указал глазами на ванную и туалет. — Сейчас для этого есть всё, даже своя электростанция — не проблема.

Я обречённо скривил в бороде обветренные губы. Долгими зимними вечерами возле печки, бессонными ночами такие мысли были нередки.

— Хочу того, или не хочу, — вздохнул, — такой дом станет таёжной гостиницей, а я уборщицей, поваром, кастеляншей, бухгалтером и директором в одном

лице, — с усталой усмешкой поднял глаза на товарища и убедился по взгляду, что он ничего не понял.

— Ну и что? — спрашивало его самодовольное лицо. — Будешь уважаемым человеком?!

Понимания в этом вопросе у нас никогда не было, спорить и объяснять не хватало сил. После первой же рюмки я заклевал носом, слегка перекусил и отпросился на отдых. Увидев, что Марина застилает кровать свежим бельём, устало заспорил, вытряхнул из рюкзака спальный мешок и стегно убившегося подсвинка. Другие гостевые подарки пришлось отложить на следующий день.

— Одичал! — рассмеялась женщина, поддерживая мужа, подхватила мой спальник, который среди больнично-белых стен, покрытых кафелем, газовой и электрической плит, пахнул в лицо золой и потом. Хлопнув дверью, Марина вынесла его в сени, а также рюкзак и мясо. Ничего не оставалось, как упасть на чистые проглаженные простыни с запахом стирального порошка, всем телом ощущая полузабытый комфорт семейной жизни. Ныли суставы, болела поясница, мышцы подрагивали от перенапряжения дня, но я быстро уснул, затем, так и не поняв, сколько проспал, был разбужен рёвом пронёсшейся под окнами машины. Потом много раз засыпал и просыпался от лая собак, шума машин. Вскоре залопотал телевизор за стеной, это поднялись хозяева. Полежав с открытыми глазами, я поднялся с тяжелой головой, неповоротливым телом и желанием поскорей вернуться в свою избушку.

За продуктами пришлось ехать в райцентр: в поселковом магазине выбор был невелик. Вернулся я на «газельке», закупив почти всё по продуманному списку. Игоря дома не было, пришлось одному перегружать продукты в прицеп его квадроцикла. И опять, как на оптовом складе, я пыхтел и удивлялся тому, что пятидесятикилограммовые мешки с мукой стали тяжелей, чем были прежде. Управившись с ними, с сахаром, крупами, макаронным припасом, сливочное масло, селедку и сало я занес в сени, чтобы не достали собаки. Едва отпустил «газельку», скрипнули ворота, хозяин поднялся на крыльцо, обмел ичиги голяком, вошел в сени, рассмеялся, кивнув на упаковку пломбира.

— А ты сладкоежка!

— Это вам с Мариной! — Отдуваясь и смахивая пот со лба, просипел я. — И шоколадные, подарочные. — Выложил из сумки блестящую расписную коробку.

— Маринке хватит конфет! Мороженого мы не едим, а тебе сгодится: в тайге, после бани, да возле печки с шампанским?! — рассмеялся, сбив шапку на ухо. — Заходи! — Указал на дверь.

— Не обеднею! Пломбира — две упаковки. Теперь вся надежда на тебя, бензин за мой счёт.

— Видел! — Он мотнул головой в сторону груженого прицепа, и в глазах его колко блеснула сдерживаемая настороженность. Видимо вспомнил непростую прошлогоднюю заброску продуктов.

— Сто муки, двадцать пять сахара, крупы, подсолнечное и сливочное масло, всякие мелкие радости. Где-то под двести пятьдесят! — Стал оправдываться я. — Только до водопада! Дальше утяну нартами.

— Да уж, как прошлый год волоклись на лебёдке — не удовольствие, и сил уже нет надрывать. Стареем!

Еще день и две ночи мне пришлось промучиться среди лая, рева и того, что здесь называли музыкой. Вечерами долбежка доносилась чуть не из каждого дво-

ра, будто хозяйева соревновались, чей шум громче, или, не желая слышать соседей, глушили их своей музыкой. Моя таёжная одежда просохла, можно было переодеться в привычное и удобное. Наконец, мы выехали на рассвете. День случился погожий, я радовался, что успел выбраться до большого снега. Наглотавшись выхлопных газов, засветло мы добрались до балагана, при этом ни разу не перевернулись, не перегружались, всего лишь пару раз выбрались из промоин с помощью лебедки. Против балагана Игорь помог мне разгрузить прицеп на береговые камни. Отдышались, мы перекусили возле костерка и поспешили в обратную сторону.

Я проводил товарища до мест, где начиналась безопасная колея, среди ночи вернулся на лыжах в балаган, перенес под кров ценный продукт, который могли поклевать вороны, погрызть звери, мыши и вездесущие белки, растопил печурку, упал на нары без сил, радостно прислушиваясь к затаённым звукам тайги. Дрожали натруженные мышцы, колотилось сердце в ритмах музыкальной долбёжки. Согревшись, я поднялся, похлебал «доширака», бросил под язык таблетку фенозепама, провалился в глубокий сон и спал почти до полудня. Затем растопил печку, заварил чай, пробил две дырки в банке со сгущенкой, оттаял безвкусный городской хлеб, погрыз его попеременно с куском мёрзлого масла. После позднего завтрака упаковал в полиэтилен один из мешков с мукой, накрепко привязал его к нартам. При этом опять удивлялся его тяжести.

— Однако, уже не сорок! — пробормотал, вспомнив, как когда-то мои сверстники успокаивали себя тем, что «еще не сорок!» — значит всё впереди. Зловредная память тут же воспроизвела давнее из прошлой, ненужной теперь жизни. Я плюнул через плечо: «Забудь про всё, забудь про всё! Ты не редактор, не осёл!». Мысленно выругался, вот ведь: смолоду суетились, чтобы было, что вспомнить под старость, а под старость хотелось забыть почти всё, что было в молодости. Психологи утешают, что переосмысление прошлого должно отпустить после семидесяти.

Смирясь с ослаблением тела взамен на пенсионную свободу, с помощью полиспаста я протянул нарты с мукой через камни и лед водопада, двинулся к зимовью и вскоре пожалел, что не остался в балагане до утра. Промёрзшая речка кипела, по льду шла вода, и не везде её можно было обойти. Нарты и лыжи намокали, облипали неподъёмным слоем мокрого снега, который превращался в лёд. Приходилось останавливаться, переворачивать нарты, которые с каждым часом становились тяжелей, соскребать налип и сушить полозья. Погода портилась, ночной ветер так и не переменялся на противоположный, резкими порывами скатывался по пади. До больших снегов надо было успеть перевезти хотя бы муку.

К ночи я уже очень устал, хотя вышел поздно и ночью хорошо отдохнул, часто садился, думал, не бросить ли нарту и уйти налегке. Но до зимовья было не так уж далеко. «Еще сотню шагов, — обманывал себя, торговался с собой, сидя на мешке с мукой, — дотянуть до удобного места». А такого места всё не находилось. На низком небе без звёзд тускло желтело размазанное пятно луны. В очередной раз, свесив голову и тяжело дыша за пазуху, я в полудрёме посидел на холодном мешке с мукой, затем огляделся: хребты расступились, до зимовья оставалось с полчаса ходьбы. Подстегнув себя, снова встал на лыжи, и волок груз, пока из тьмы не показалась избёнка. Поникшая и ссутулившаяся, она терпеливо ждала меня.

Бросив нарту с мешком в двадцати шагах от жилья, на подгибавшихся ногах я ввалился в промёрзшее зимовье. Негнущимися пальцами раскрыл коробок со

спичками, чиркнул и разжег заряженную печку. Она схватилась огнем, заждавшись моего возвращения. В ушах гулко стучала густая кровь, дыхание не выровнилось. Я засветил лампу, сбросил куртку, свитер и рубаху. Обнаженное тело обожгла стужа с приятным запахом дыма. Переодевшись в сухое, вспомнил, как в прошлом, до пенсионной воли, во времена отпускных охот, в таких случаях выпивал стакан водки, потом переодевался. Теперь вытряхнул из карманной аптечки таблетку валидола и положил под язык. Несколько моих ровесников-таёжников уже «дали клина» от перегрузок, не смирившись с тем, что сил становится меньше. И первыми погибли самые сильные, с крепчайшим здоровьем, дарованным им природой.

Идти за водой, долбить прорубь не было сил. Я нагреб снега в кастрюлю и поставил на печку. Она скаречно, по-старушечьи зашипела, будто корила за день, который по уму-разуму надо было отлежаться в балагане и выйти с грузом на рассвете. Поужинав мерзлым хлебом и сгущенным молоком, я выпил остатки баданового отвара, снова набил кастрюлю снегом и вытянулся на нарах. Сердце не успокаивалось и всё ещё натруженно стучало. Я бросил под язык таблетку валидола, затем феназепам и уснул при непогашенной лампе.

Проснулся в полутьме. Стекло лампы было черным от копоти и тускло высвечивало неприбранный стол. Кутаясь в расстегнутый спальник, я поблагодарил Бога, что жив, набросал хвороста в выстывшую печку, разжёл её куском бересты. В кастрюле с водой из снега был лёд. Остатки городского хлеба, оставленного на камнях у печки, погрызли мыши. Видимо горностаи не наведывался ночью. Я почувствовал себя слегка отдохнувшим, стал готовить завтрак, а на рассвете приволок нарту с мукой. Мешок был целым, этой ночью мыши не успели проложить тропу к дармовой еде. О том, чтобы подняться по лестнице к лабазу с мешком на плече, не было и мысли. Я перекинул веревку через закрепленный блок, поднял муку с помощью полиспаста и втиснул в лабаз. Оттуда сбросил на снег мясо: перед выходом надо было основательно подкрепиться.

После полудня с пустой нарткой в поводу, налегке я отправился в балаган, переночевал там и на рассвете поволок к зимовью второй мешок муки. Через пять дней все продукты были дома. Я натопил баню, выстирал белье, напарился, стал считать прожитые в делах дни. Ленинская новогодняя ночь прошла незаметно в балагане, не оставив даже запомнившегося сна, а наступающая была предрождественской. Каких чудес ждать за полсотни километров от людей? Снегурочке явиться неоткуда, леший — спит, даже с медведем-шатунем встреча маловероятна, поскольку поклеванное воронами, погрызенное зверьми его тело лежало под деревом, а у души не могло быть претензий: я защищался. Разве какой другой, с соседних угодий проснется и выберется из берлоги от недостатка нагулянного жира?! Но это маловероятно.

Падал снег, замечая мой след, перекрывая подходы к избушке. Запас продуктов можно растянуть на год. Я ощущал себя мыслью, получившей возможность существовать в своей идеальной среде. Но этой чудной ночью, с черным небом и отвесно падающим снегом, душа просила праздника. В выгороженном от холода, высветленном семилитровой лампой пространстве, баюкая свою тихую радость, я развел до менделеевского градуса семьдесят граммов спирта, в тепле и чистой одежде воссел на нары, празднуя свободу и независимость. Разведенный спирт щипал язык и першил в горле, пломбир студил рот, весело потрескивала печка.

Я накинул на плечи пуховку, сунул ноги в валенки, вышел на крыльцо под снегопад. В темени едва угадывались кроны ближайших деревьев, за спиной уют-

но высвечивалось мое прибранное жильё. И почудилось вдруг — остановилась январская ночь. Ничто не нарушало её покоя и своеобразной тишины. Где-то там, за снеговыми облаками по-прежнему мерцали вечные звезды, катилась по небу золотая луна, объезжая землю. А здесь, в неслышном шелесте снежинок звучала колдовская песня. Чудны были её слова и музыка, и казалось явным, что у всего вокруг есть свой язык и душа: у дремавших деревьев, избенки, печки, у слегка чадающей на столе керосиновой лампы, заправленной соляжкой, сдобренной бензином. Даже она что-то лопотала, вспоминая своё долгое не простое прошлое, бывших хозяев, их жизни и мысли. Симфония звуков этой кажущейся тишины дополнялась танцем снежинок, движением невидимых звёзд: под снегом бегали мыши, которым нельзя не есть несколько часов сряду. Они жевали, дрались, совокуплялись, плодились. Очистив себе места до сухой травы, дожидаясь чистого неба, где-то лежали изюбри и козы. Дремали сытые вороны, оголодавшие волки грызли окаменевшие останки медведя. Чудны были неслышные звуки и плавные движения вечного танца природы в эту тихую, нарядную, цветущую ночь, не опошленную рокотом города. Может быть, только здесь, ощущая себя частицей тайги и космоса, соединяясь со всем живым, по-настоящему становишься соучастником всей этой жизни, во всей полноте ощущаешь, что ты жив и не одинок в мире. Я оглядывался на распахнутую дверь, во внутренность своей тёплой, высветленной избушки, душа замирала от полноты и глубины ощущений, уносились за пределы видимого. Полная тайн и звучания ночь неслась ко дню и свету.

Снег падал двое суток сряду, завалив и утеплив избушку. Я валялся на нарах, читал, подтапливал печурку и прислушивался к чердачным звукам. Ленивая рысь голодала, не желая барахтаться в рыхлом снегу, отыскивать мышей, рябчиков и зайцев на лежаках. Время от времени она ворочалась, то отодвигаясь от трубы, то прижимаясь к ней, при этом задевала боком веники. Они приглушенно шуршали. Мыши без горностае всё больше нагнели, возились и попискивали под нарами, выскакивали к печке, подбирали крошки. Рысь слышала их возню, шевелила усами и по-кошачьи вздыхала.

Снегопад резко прекратился. К вечеру среди опорожнившихся легких туч блеснуло и пропало солнце. Утро было ясным, небо бледно-голубым с розовой полосой от востока к западу. Над ней висел белый круг луны. Позавтракав и неспешно отдохнув за кружкой травяного отвара, я проверил пилу: дёрнул стартер, она взревела, выпустив едкую струю дыма. Рысь соскочила с чердака в сугроб, вскидывая длинные ноги и тощий зад с куцым хвостом, убежала в кедрач. Я сунул за пояс топор, с бензопилой в руке вышел из зимовья, разгребая снег ногами, стал подниматься на гору к сухостойному осиннику.

Запас дров кончался. Высмотрев ближайшее умершее дерево, я погладил комель по чёрной коре и предложил ему превратиться в тепло: это лучше, чем тлеть и трухляветь десятками лет?! Пила снова взревела с пол-оборота, будто истосковалась по работе. Крупными скачками из леса выскочил безрогий изюбрь, уставился на меня ошалевшими глазами, резко развернулся и поскакал в гору.

Всю неделю я пилил, таскал и колол дрова. Печка топилась с утра до вечера, еды было вдоволь, правда, только постной, и это в самый разгар мясоеда и праздничный разгул: в тайге всё не так, как у нормальных христиан. Но поленница выросла в рост, дров должно было хватить надолго. От стука топора и рева бензопилы разлетелись птицы, не возвращалась рысь. Запах горелого бензина висел на ветвях деревьев, едким духом пропиталась одежда. Я не устоял против соблазна

готовить дрова с помощью техники, иначе, с ручной пилой, провозился бы до самого Сретенья. И вот бормотал, стыдливо оправдываясь перед лесом, по-стариковски забываясь, что проговариваюсь вслух. Ловил себя на этом, в минуты затишья, как бы со стороны прислушиваясь к своему голосу, и хорошо понимал молчаливую неприязнь деревьев. Ведь я и сам с трудом претерпевал в городе шум машин, запах горелого бензина, сдобренный табаком. Всё! Раскряжевав последнюю сухостоину на чурки, выключил пилу и вытер пот со лба. Кедр в пышных блекло-зелёных шубах, закуржавевшие чёрные лиственницы, обнаженные, зябко жмущиеся березы и осины, обиженно помолчав, тихонько зашевелили ветвями, прощая порушенный покой. В делах незаметно пролетел старый Новый год, учреждённый указом царя русофоба.

Выпавший снег оседал и уплотнялся. Горностая всё не было. Мыши до того осмелели, что бегали по столу, пытались драть пух из спального мешка и шерсть из свитера, перестраивали моё жильё под своё понимание удобства. В валенках я находил припрятанные ими макароны и сухари, в бахилах — новосвитые гнёзда. Верх наглости — стали покушаться на мою бороду. Нашлась до безрассудства отчаянная мышь, которая, постукивая когтями по венцу, подбегала к нарам, шебарша по ткани, пробираясь к моему лицу. Я отгонял её, она лезла снова, и так до полуночи. Было не до сна. Голова торопливо строила планы мести и отлова. Не делать же плашки среди ночи?! В отчаянье созрела идея: я положил сухарь в жестяную банку из-под тушенки, над ней насторожил тяжелое полено, от сторожка протянул веревку. Едва мышь захрустела сухарем в банке, дернул веревку, полено придавило вскрытую жестянку. Выскочив из спального мешка, я схватил её, придумывая казнь беспредельщице. Но мышь, сплюснвшись в ленту, пролезла в полусантиметровую щель с острыми краями. Задавить её кулаком мне не удалось, я бросил вслед полено и промахнулся.

Урок не пошел нахалке впрок, экстремалка снова заскреблась, подбираясь к бороде, а я, продолжая строить планы отлова и возмездия, опять насторожил ту же банку с сухарем, и мышь вскоре загремела им. Я выдернул сторожек, полено придавило вспоротую крышку. Я кубарем слетел с нар и плотно закрыл её ладонью. При всей мышьиной наглости, эта мышь решила презреть смерть и снова захрустела сухарем. Злорадно торжествуя, я зачерпнул из ведра воды и через щель наполнил банку. Мышь побарахталась и захлебнулась. Со всеми предосторожностями я вытащил мокрую утопленницу и, на всякий случай, обезглавил её. После этого задул лампу и, подумав, что таких страстей никогда не испытывал на охоте и рыбалке, легко уснул.

Помня мышьиный беспредел, сразу после завтрака делал плашки с приманкой подсолнечного масла. Они хлопали одна за другой, я выбрасывал за дверь задавленных мышей на сторону, где на крышу взбиралась рысь. Весь день прошел в нудной охоте, но мышьиный разбой поредел. Во тьме вечера пугливо заметался огонек на фитиле, старая лампа запаниковала, и стал гаснуть. Кончалась солярка в резервуаре, а запаса не было. Я достал свечку, запалил фитилек, а лампа печально, с укором помигав, погасла, пустив последнюю струю дыма с едким запахом. Жаль было упущенного солнечного дня, потраченного на защиту жилья, но не было сил терпеть и дальше мышьиный разгул в надежде на возвращение горностая.

Свечей было мало. О пополнении запаса я не подумал. Но у меня был керосин, настоящий, чистый, авиационный керосин, слитый прошлым летом вертолечниками при работающих винтах машины. Я перелил его в пятилитровый пэт,



брошенный крутыми охотниками возле егерского зимовья. Время от времени они прилетали туда для развлечений и веселья. Керосин я надежно спрятал, о пожаре в тех местах не слышал. Летом туда был день хода.

Погода позволяла сходить в егерское зимовьё, но был крещенский сочельник. Не так уж много праздников в таёжной жизни, и этот упускать не хотелось. Крещенским утром, после молитв, я раздолбил пошире прорубь, затопил баню, натаскал воды с речки. После выпечки хлеба разделся донага, посидел голым в зимовье, подсушивая остатки пота на теле, и вышел за дверь в одних валенках с полотенцем на шее. Положив три поклона на восход во имя Отца, Сына и Святаго Духа, трижды окунулся в зимней речке, постоял, чтобы восчувствовать прилив сил, обтёрся и не спеша пошёл в баню. Затем, распаренный и обессиленный, лежал на нарах, смотрел в потолок: на душе был покой. На печке побулькивали чёрный чайник с чагой и кастрюля с разваренным горохом. По случаю праздника я вытряхнул в него банку говяжьей тушёнки и приправил солёной черемшой.

И снова было ясное утро, над розовевшей полоской бледно-голубого неба висел белый серп убывавшей луны, взошедшей перед самым рассветом. Земля неслась по кругу в космической стуже, поворачивалась моим лесом к Солнцу и приближалась к нему, обещая погожий зимний денек. Осторожно, всей грудью вдыхая чистый, холодный воздух, я тихонько пробормотал утренние молитвы, положил поклоны Синему Небу, восходящему Солнцу, Земле-матери, их Творцу-Создателю, вернулся в тёплую, чуть задымленную избушку, плотно позавтракал и встал на лыжи.

Путь был намечен неблизкий, а снег оказался много мягче, чем я предполагал, ноги с лыжами порой тонули почти до колен. К полудню я основательно выдохся, стал часто присаживаться, остывая и переводя дыхание, вскоре засомневался, дойду ли до егерского зимовья засветло. Холодное желтое солнце, повисев в зените, покатилося на закат. Я развел костер, заварил чай, перекусил, долго сидел, свесив голову над тлевшими углями. Не успокаиваясь, натружено стучало сердце, вспоминались лица друзей, охотников, умерших в тайге, чаще всего, от инфарктов. Они не верили в старость, в то, что семьдесят — это даже не шестьдесят, и напрягались как сорокалетние. Кончина таёжника в тайге — почётна, но именно сейчас мне этого как-то не хотелось. Я положил под язык таблетку валидола и тихонько побрел в обратную сторону по проложенной лыжне.

Не выставшая избушка встретила меня радостно, возле неё не было следов ни рыси, ни горностая. На просевшем от солнца снегу валялись серые трупики мышей, до которых так и не добрались вороны с сойками. Я скрипнул жестяной дверцей заряженной печурки, чиркнул спичкой, пахнувшей в ноздри едкой серой, избушка стала наполняться живительным дымком. Печка весело гудела. Я дождался, когда в зимовье потеплеет, и стал переодеваться в сухое. «Спокойно, дружище, спокойно! — бормотал. — У нас ещё всё впереди! — вот отдохну и опять уйду по накатанной лыжне». Надо привыкать к тому, что силы убывают, и не надрываться.

Быстро наступила ночь. Небо над крышей было чистым, черным и безлунным, ярко светили звезды. Я достал последнюю свечку, зажег, поставил посередине стола и начал мастерить коптилку из консервной банки.

На другой день опять случилось ясное и погожее утро. Я снова собрал рюкзак, пообещал приунывшей лампе порадовать настоящим керосином, и ушел по вчерашней накатанной лыжне. Лыжи легко скользили по спрессованному снегу, ве-

село сверкавшему под солнцем, легкий ветерок поддувал в спину, обещая устойчивую погоду. Дойдя до конца проложенной лыжни, я снова начал топтать снег, но это давалось легче, чем вчера: было больше сил, и снег за ночь окреп. Я хотел уже сделать первый привал, подыскивая для этого удобное место, но с правой стороны заметенной речки показалось пестрое пятно почти метрового диаметра. «Неужели коза?» — приложился к биноклю. Но нет, было что-то иное. Вблизи я увидел густой слой пера рябчиков. Ни кровинки, ни голов, ни лапок: всё съедено и старательно ошпиано. Судя по следам, соболь добыл птиц из-под снега, пировал долго, неспешно, и уволок набитое мясом брюхо под какую-то корягу.

Передохнув, я снова принялся топтать лыжню и через полчаса вышел на свежий лыжный след. Человек шел на широких охотничьих лыжах, подбитых камусом. В этих местах таких следов не бывало. Местные лесоинспекторы камусными лыжами не пользовались: стоит их намочить, и придётся бросить или нести на себе. Охотник облегчил мне путь и опечалил тем, что зимовьё, скорей всего, не пустовало: не хотелось встречаться с людьми, пуще того возвращаться без керосина. Чтобы найти его, надо было переночевать: да и сил на порожнее возвращение ночью уже не было.

Над добротной егерской избушкой курилась труба, к стене были приставлены широкие камусные лыжи, на торчавшем венце висел карабин, снег был вытоптан до земли, а в стороне, на поляне и вовсе разметан по кругу. Явно, прилетал вертолет, но я его не слышал. Значит, он был не сегодня и не вчера. Гас погожий январский денёк, надвигались сумерки. Я долго стоял за деревьями, высматривая подступы к избушке. Из неё вышел широкоплечий увалень в ичигах и меховой куртке, нарубил дров, скрылся за дверью. В походке и движениях человека было что-то знакомое, хотя ни на кого из здешних егерей и таёжных бичей он не походил, и одет был иначе. Разве таёжных оперативников забросили на вертолете? В нынешнее время всеобщего дотошного надзора всякого рода полицаев больше, чем вольно живущих.

Из зимовья долго никто не выходил. Вряд ли в нём было много людей. Я спрятал двустволку и патроны, открыто подошёл к избушке и постучал в дверь. Её открыл дородный, как медведь, мужик, и мы с ним узнали друг друга.

— Генерал?! — удивился я.

— Ух ты! Бывший интеллигент?! — радостно рявкнул он. — Вот так встреча. Гуляешь по знакомым местам или всё ещё бичуешь?

Мы встречались в позапрошлом году при тушении лесного пожара. Он командовал малой авиацией и десанниками. По его указу вертолетчики налили мне полведра керосина. Начальник был выше среднего роста, не толст, но непомерно широк в плечах. На короткой, по-волчьи крепкой шее держалась большая голова со слегка выпиравшей, волевой нижней челюстью. На щеках — трёхдневная щетина.

— Всё бичую! Пришёл вот за керосином, который ты мне подарил. До сих пор как-то перебивался, а тут подперло...

— Заходи, грейся! — Подхватив под руку, он почти втащил меня в зимовье.

В избушке было тепло, потрескивала печка, в котле булькало варево. Генерал был один. На нарах валялись надувной матрас и спальный мешок, возле стены аккуратно сложены коробки, ящики с водкой и продуктами.

— А ты молодец! Не ожидал! Подумал тогда, на пожаре, попридуряешься лето, к зиме вернешься в город. Завидую! Частенько тебя вспоминал.

— Так в чём дело? Не дотянул до золотого возраста?

— Кого там? Еще в полтинник мог уйти. Но, семья... И не только семья — целая свора родственников, друзей, близких, кому обязан...

Он отмахнулся с потускневшим взглядом, не желая вдаваться в подробности своей жизни. Я скинул шапку, распахнул куртку, указал глазами на припас у стены.

— Надолго заехал?

— Кого там! Завтра должны забрать. Привозили иностранца на охоту.

— На берлогу?

— На неё! — Неприязненно поморщился генерал. — Охотничек хренов... Подняли зверя, оказалась медведица с пестуном. Пестун выскочил первым, она за ним. Мои люди — врассыпную, а эта нерусь, за сто шагов от берлоги, с мощной оптикой, орёт: «Не буду стрелять! Медвежонка жалко!»

— Отпустили? — Сдернув с плеч свитер, я удивленно взглянул на генерала. Шатун по соседству — проблема: ладно, хоть предупрежден.

— Кого там? Заставили медведицу застрелить! На берлоге не написано, какого пола зверь! — проворчал генерал с недовольным видом. Видимо, что-то не сошлось в их развлекательной охоте. — А пестуна отпустили для отмазки. Искал его после этой хреновой охоты, не нашёл.

Я повесил свитер над печкой, рядом — мокрую от пота рубаху. Вытряхнул из рюкзака спальный мешок и накинул на голые плечи.

— Дарю! — Генерал откуда-то вытянул и подал нескрытый пакет с термобельём.

— Царский подарок! — удивился я. — Не накладно?

— Готовились долго, отстрелялись быстро, — ворчливо пророкотал он. — Видишь, сколько всего остается, — указал глазами на коробки. — Хорошо тебя Бог прислал. Водка и консервы, ладно, егерям сгодятся, а остальное мышам на радость, что ли? Со всей округи сбегутся. Забирай что хочешь, не жалко. Сейчас шашлык будем печь! — Вытянул из-под нар пластмассовый ящик с маринованным мясом, достал шампур, с удовольствием стал нанизывать на них куски. Сукровица и рассол текли сквозь толстые пальцы больших рук, похожих на медвежьих лапы. Да и сам он походил на матерого медведя.

Я переоделся в сухое бельё, хотел подбросить дров в топку.

— Не надо! — буркнул генерал. — Приспособился готовить прямо в печке. — И положил на угли бумажный мешок с древесным углём.

Вскоре запахло ярмаркой и трактирами. В зимовье нашлось даже жестяное блюдо. Он выложил на него нанизанное на шампуры мясо.

— Забыл, как зовут. Может, и не знал, а лицо помню.

Я назвал:

— Мишка!

— Добро! А я — Санька!.. Выпьем, что ли? — Достал из коробки фигурную бутылку виски.

— Только не это! — Я замотал просохшей бородой. — У меня с вискача похмелье тяжёлое.

— Есть водка и коньяк! — Позвякивая стеклом, генерал вытянул из коробки две бутылки с зажатými между пальцев горлышками.

— Можно попробовать! — согласился я, указав глазами на коньяк.

— Поверишь ли?! Смолоду не переносил спиртного, — откупорив бутылку,

стал разливать по серебряным стаканчикам. — Я — сын и внук охотников. Уго-раздило по юношеской дури поступить в институт. Потом женился на городской, пришлось служить. Вроде при тайге, время от времени даже охочусь и не всегда с богатыми, чиновными, а все равно не то. А как тяжело учился пить?! Без этого никак. Все договоры, все встречи, всё через это! — Поморщившись, неприязненно кивнул на наполненный стаканчик. — Мог бы быть хорошим охотником, пришлось стать генералом.

Я захохотал, откинувшись на нары, как бы со стороны услышал свой смех, вспомнил, что давно не смеялся громко, и даже удивился этому звуку. Санька-генерал с пониманием и печалью кивнул. А я, посмеявшись, озадаченно пожал плечами:

— Генерал сожалеет о том, что не стал простым охотником, слышу впервые, хотя о том, чтобы какой-нибудь охотник сожалел, что не стал генералом, не слышал никогда... Не хочешь, не пей! Мне питейная компания не нужна! — Я отхлебнул коньяку из стаканчика и отставил его в сторону. От одного глотка приятно закружилась голова, от второго потянуло на разговоры.

Санька выплеснул в печку налитое, над пылавшими углями с гулом поднялось и вырвалось наружу синее пламя.

— Самое время для шашлыков! — Он встал на колени, устанавливая подставки, раскладывая шампуры с мясом. Его обветренное лицо розовело и блекло, казалось грубей и больше прежнего походило на медвежью голову.

— Мечтал в детстве быть охотником и жить в тайге, — разоткровенничался я. — Другие времена были. Двенадцатилетнему отец подарил дробовик. Он висел у меня над кроватью. Я ходил с ним в тайгу мимо окон участкового. Никого это не удивляло. Ведь мы — сибиряки! В четырнадцать лет получил охотничий билет. Родители и слышать не хотели, чтобы я стал охотником: с ножом к горлу — поступай в институт. Если бы знал про охотфак, что он есть и что даёт, с медалью бы школу окончил. Но подал документы на лесохозяйственный. Сiju на подготовительных курсах: алгебра, геометрия, — тоска несусветная, а еще и химию сдавать. А потом — литература: родные Чацкий, Базаров!.. Забрал документы и в универ на филологический — факультет благородных девиц: ни родители ничего не поняли, ни учителя. Поработал в газетах, издательствах, журналах: ничего, интересно. Правда, зарплаты нищенские. А едва ли не после диплома — семья, ребёнок. Бывало охотился и не только по отпускам: уходил без содержания на весь сезон, но азарта к убийству не имел, всё ради денег... И оторваться от города смог только на пенсии. Хотел пожить среди природы хотя бы годик: несуетно, степенно, посмотреть, как в мелочах меняются времена года, без шкуродёрства, капканов, плашек, беготни по путикам... Прожил год. Вернулся в город. Через месяц — обратно... Дай Бог, навсегда!

— И сколько бичуешь? — настроженно, без насмешки спросил генерал.

— Восьмой!

— Успел-таки пожить по-людски! А я не знаю, смогу ли?! И что? Совсем не охотишься?

— Почти! Иногда приходится добывать мясо на пропитание, а мех не промышляю.

— Я тоже люблю тайгу, но если не охотиться, что в ней делать? Сидеть сиднем в зимовье? Знаю богатых людей, которым таёжные заработки по барабану, всё равно соболуют, белкуют, чтобы было чем заняться.

— Мне дел хватает! Не до скуки. Иногда хочется поваляться день-другой и некогда.

Быстро темнело. Генерал, побряхтывая, поднялся, прикрыв дверцу печки, достал круглый фонарь, засветил.

— Заряжается от солнца! — пояснил. — Если темно, можем зажечь свечи. Их у меня целая коробка. Тоже можешь забрать. — И проворчал: — А пива к шашлыку только две банки. Целую упаковку выжрали алкаши хреновы.

Я взял коньячную бутылку, в раздумье: не добавить ли? Придвинулся к свету. Этикетка уверяла, что это французский коньяк, хотя по вкусу явно была спиртосодержащая жидкость с добавкой вкусового красителя.

— Не нравится? — прорычал генерал.

Я неопределенно пожал плечами и не стал говорить о том, что с доперестроечных времен помню коньячный вкус и запах.

Шашлык получился вкусный. Генерал знал толк в кухне. Унести на себе всё, что он предлагал, не было возможности. Отдавать на разграбление мышам продукты, которые доставались мне большими трудами, — стыдно и глупо. Надо было возвращаться за нартой.

При матовом свете солнечной лампы мы лежали на нарах и говорили о тайге.

— Последние годы заключаю договоры со староверами, — Санька делился служебными заботами. — Один раскольничек стоит взвода десантников: трезвые, обязательные. Расплачиваюсь мукой и крупами. Не хочешь порадеть за общее дело? — приподнялся на локте.

— Случись пожар — и без договора буду спасать себя!

— С договором лучше! — упрямо пророкотал генерал, не переводя разговор в шутку. Достал карту, расстелил, нацепил на нос очки. — Как понимаю, ты бичуешь где-то в этом месте?! — Ткнул толстым пальцем в хребет, разделяющий две речки, вытекавшие из одного болота. — Как только поднимается черемша, сюда вот толпами полезут бомжатники. Там каждый год пожары.

Я придвинул лампу, посмотрел на карту с приложенным пальцем.

— Тут всё выжжено, черемши нет. Теперь ходят сюда! — Указал.

— Так возьми на себя! Контролируй! Костры жечь начисто запретили — штраф за любой открытый огонь.

— Слышал! — зевнул я. — Только скандалить, пугать, штрафовать — старый уже. Могу опасный период побичевать вблизи тех мест. Буду тушить оставленные костры. Если найду место сотовой связи — сообщать. Вот только мобилу заряжать негде, электростанцией не разжился.

— А я пришлю солнечную батарею!

— И как?

— Отправлю через инспекторов. Или при облете сброшу, покажи куда?!

Я указал излучину речки с богатым брусничником, неподалеку от моей избушки.

На другой день, до полудня застрекотал в небе вертолет, не останавливая вращения винтов, присел на месте с разметённым снегом. Генерал с рюкзаком, карабином и камусными лыжами махнул мне рукой и скрылся в его утробе. Машина натужней взревела и поднялась в воздух. Я вернулся в опустевшее зимовье с доставшимся мне богатством. Унести всё разом невозможно. Остатки маринованного мяса надо было съесть. Бутылкам, консервам, приправам ничего не сделается, картошку можно заморозить: если бросать мёрзлую в кипящую воду — чуть сла-

стит, а так очень даже ничего. Колбасы, крупы, пакеты со всякой заварной снедью я упаковал в рюкзак, приподнял, вспомнил свою обескровленную лампу, ждав-шую обещанный керосин, и стал разгружаться. Все доступные мышам продук-ты завернул в куски полиэтилена, в мешки и привязал к потолку зимовья. Затем навел порядок, отыскал спрятанную канистру с керосином, вновь уложил рюкзак, килограммов на пятнадцать весом. А когда-то тридцать было нормой. Взглянул на солнце, клонившееся к закату, подбросил дров в печку, вытащил из рюкзака спальный мешок и бросил на нары: если бы ушёл в это время, то, даже по нака-танной лыжне, при идеальном пути без обычных неожиданностей, мог вернуться домой только после полуночи. Но такие удачные переходы случаются редко.

Посидев в раздумье, я сложил передержанное в маринаде мясо в котелок и стал тушить. Волчья натура не могла смириться с бессмысленной порчей продук-тов, тем более мяса.

На другой день утром я прибрал и поблагодарил за ночлег чужое зимовье, накинул на плечи рюкзак, ружье и встал на лыжи. Они легко и шумно заскользи-ли по подмёрзшей, затвердевшей лыжне. Поднималось ясное, холодное солнце, слепило глаза, ветерок жёг лицо. Я укрывался башлыком, смотрел под ноги, на бахилы. Местами выравнивал лыжню, предполагая вернуться с нартой.

Неприятная неожиданность не заставила себя ждать. В широком распадке речка промерзла до дна, и у берегов выперла вода, залив ровным слоем большое пространство. Она парила, окруженная белыми сугробами. Пришлось обходить разлив по камням. Ночью мокрые лыжи и обнос воды обошлись бы мне такими трудами и усилиями, о которых страшно думать. Но был день и запас времени. Я отобедал у костерка разогретой на огне колбасой и галетами, припахивавшими керосином, попил городского пакетированного чаю и двинулся дальше.

Путь дался легко, и все равно я подошел к своей избушке уже на закате январ-ского дня. Впрочем, он мог быть февральским, со счета дней я сбился. С тыльной стены к зимовью тянулся след рыси. Знакомая киска в моё отсутствие попользова-лась остатками тепла. Вокруг избушки был крап следов беспокойного горностая. Лабаз показался мне обсиженным птицами, хотя мяса в нем не было. Видимо, оставался запах, а воронам приелась медвежатина. Я подошел к двери, скинул с ног и поставил стоймя лыжи. Из-под крыши выпорхнули устроившиеся на ночлег синички.

— Сидите, дурехи! Холодно! — пробормотал я. — Сейчас погрею!

Выставшая избушка встретила как родного и милого. Весело загудела, залопотала печка. Я освободился от рюкзака, достал пэт с керосином и первым делом заправил лампу. Еще не восчувствовав внутри себя настоящий, чистый керосин, она недоверчиво помигала иссохшим фитилём с запахом солярки и празднично засветилась, коронованная протертым стеклом.

В наполнявшемся теплом зимовье я переделался в сухие рубаху и трикотажные штаны, подванивавшие керосином, развесил над печкой свитер, подаренное тер-мобельё, носки и вкладыши бахил, откинулся на холодный спальник и почувство-вал себя вполне счастливым. Среди ночи по-домашнему заметался по зимовью горностай. Ближе к утру сквозь сон слышался скрежет когтей рыси, подбирав-шейся к теплой трубе. Эти знакомые звуки не нарушали сна, и даже убаюкивали. Спал я долго. Наверное, слишком долго. В оконце заиграл лучик солнца. На кры-ше рысь раз и другой пошелестела вениками, напоминая, что пора бы затопить печку.

Весь день протёк неторопливо и незаметно, как вода сквозь ладони. Я отдышал, думал над изобретением кормушки для синичек, недоступной для горностаев, соболей, соек, кедровок, ворон, такой, чтобы не стала ловушкой. А утром следующего дня собрался идти за продуктами, оставшимися от дворянской охоты. Они были для меня совсем не лишними. Решил идти налегке, без ружья, с фальшфейером. Риск был минимальным: мой медведь — мёртв, медведица, поднятая «дворянами», убита. Если пестун выжил и голодает, то вряд ли отважится броситься на здорового человека. Ну, а волки слишком умны, чтобы нападать на охотника: разве на слабого, обессиленного, ползущего по снегу.

Зарозовело небо над восточным хребтом, засинел снег на деревьях. Я затворил зимовье, встал на лыжи и потянул за собой пустую нарту, громыхавшую полозьями по подмерзшей лыжне. Ветра не было, случилось время их спора, регулярно дувших вниз по пади по ночам и вверх днями. Лыжи легко скользили по лыжне, ядреный воздух колко входил в ноздри, обвисал сосульками и тихо тренькал на усах. За моей спиной поднялось солнце, зарозовел снег под ногами. Разлив воды, который пришлось обходить по камням, я увидел издалека. Он был гладок и просторен, как каток. Вода застыла и блистала голубизной льда. В самой его середине бугрилось что-то непонятное.

Я вышел на лед, скользя, спотыкаясь и елозя по нему лыжами, остановился, вытащил из кармана бинокль. В середине застывшего разлива лежала туша зверя. Это были останки изюбрихи. Судя по следам, волкам удалось выгнать её на лёд и задрать. Раненая, истекавшая кровью, она пыталась встать на копыта, скользила и падала, пока не отлетела от туши её наивная бабья душа. Внутренности, бок, стегно и лопатка были съедены почти дочи́ста. Видимо, волки насытились и лежали где-то неподалёку, переваривая добычу. Голова изюбрихи была почти целой. Широко открытый застывший глаз смотрел на меня удивлённо и жалостливо.

«Жаль-жаль!» — пробормотал я в обмёрзшую бороду. Но не поделить с волками их добычу было не по-таёжному. Они поступили бы так же. Бросив веревку нарты, я попытался перевернуть тушу, но она проморозилась как железо и накрепко вмерзла в лёд. Пришлось повозиться, чтобы ножом выдолбить и отделить от останков стегно. Волочь его за собой в зимовье не было смысла, я надёжно закрепил мясо в шкуре с копытом на ветвях кедра, так, что волки достать не могли, ну, а от ворон уберегут разве Бог и тайгун. Хотя, леший, по поверьям, зимой спит, как и медведь.

Бросив взгляд на уменьшившиеся останки туши, я попросил у волков прощения за грабёж и пошел дальше. Возня с мясом задержала меня против рассчитанного времени. К зимовью я подошел в сумерках, а надеялся до ночлега запастись дровами, которых оставил мало. Сухостой вокруг избушки был давно вырублен. За дровами надо было идти, а с каждой минутой становилось темней. Обстоятельства вынуждали задержаться и провести здесь следующий день, что не входило в мои планы. Я достал свечку из упаковки, оставленной генералом. Она за полчаса сгорела дотла, не оставив после себя ни капли парафина, только упавший на бок, скорчившийся черный огарок фитиля. Дрова быстро прогорели, не прогрев зимовья, не просушив моего белья. Я положил на тлевшие угли бумажный мешок древесного угля, брошенного сюда для шашлыков. Он вскоре затлел, дарёное термобелье просохло, тушёнка разогрелась, хлеб оттаял, чай закипел: ночлег предстоял с удобствами.

Утром я удивился, что зимовье не выстыло как должно, и тишина была особой. «Снег?!» — подумал. Выбрался из спального мешка, сунул ноги в носках в

чи-то опорки, приоткрыл дверь. Порог был завален. Крупный и пушистый снег плавно кружил без ветра и тихо ложился на тёмные сугробы. Я чиркнул спичкой, зажег очередную свечку. Пружинные часы показали шесть утра. До рассвета далеко. Я опять забрался в теплый еще спальник, бормоча: «Не всё коту Масленица...» Укутался с головой и стал ждать рассвет. Продуктов было больше чем достаточно, здесь можно было просидеть неделю, хотя приятней провести время в своей избушке.

Поднялся я, когда мутно засветилось застеклённое оконце. Дров не было. Пришлось сунуть в печку последний мешок угля, облить керосином и поджечь. Печь затеплилась, согрелся чай. Я позавтракал сгущенным молоком с печеньем и стал искать топор. Топора в зимовье не оказалось, но нашлась двуручная пила и малая сапёрная лопата. Я отвязал вожжи с нарты и пошел в лес за дровами. До полудня тем и занимался, что готовил их и вперемешку со снегом таскал в зимовье. Потом сушился и грелся, готовил обед, затем ужин. День прошел, зимовье прогрелось, к вечеру снегопад прекратился.

Утро выдалось хмурым, редкие мелкие снежинки просекали сумеречный воздух. Для перехода погода была не самой приятной, но в прошлом случалось и хуже. Я стал собираться. Оставив случайному путнику запас еды, дров и непомерное количество спиртного, зарядил печку, уложил на нарты консервы, печенье, галеты, крупы, одну початую бутылку якобы французского коньяка, для придания привкуса и запаха своему спирту. Накрыв груз куском полиэтилена, перетянул его верёвкой, сдвинул нарту с места — не тяжела. По пути можно было прихватить мясо, позаимствованное у волков.

Поблагодарив зимовье за приют, я пошел по заметенной, но видимой лыжне. Свежий снег цеплялся за лыжи и нарту. К месту, где волки задрали изюбриху, я уже так выдохся, что не только не помышлял о мясе, но решил выгрузить консервы. Останки туши были засыпаны снегом, следов на нём не было, будто волки забыли про свою добычу или заподозрили в моих действиях рядом с ней злой человеческий умысел. Я не стал подходить к мясу, снял с нарты коробку с консервами, поставил под дерево и пошел дальше. Вскоре под снегом захлопала вода, пришлось остановиться, чтобы перекусить, просушить лыжи и полозья...

И вот стало темнеть. Выпавший свежий снег тормозил нарту и выматывал тело. Ещё через три передышки меня накрыла ночь без луны и звезд. Присыпанная снегом лыжня едва угадывалась. Понятие о расстоянии менялось. Я узнавал места, но одно от другого находилось много дальше, чем представлялось. Наконец во тьме показался долгожданный родной и знакомый бугор, заваленный снегом, бросив нарту и скинув лыжи, едва отряхнувшись, я ввалился в свою выстывшую избушку, негнушимися пальцами раскрыл коробок, с трудом зажал спичку, чиркнул, растопил печку и упал на нары. За стенами была глухая ночь, гулко билась кровь в теле. Первой мыслью был соблазн — выпить водки. Но сердце стучало так натружено, что после полустакана могло замолотить как бензопила с пустеющим баком... А то и заглохнуть.

Едва согрев руки, я достал из карманной аптечки таблетку валидола и положил под язык. Отдохнув, переоделся, подкинул дров в печку и вышел, чтобы освободить нарту, очистить и поставить на место лыжи. Уже под утро, успокоившись не без помощи фенозепама, с раскаяньем вспомнил о мясе, отобранном у волков. Душа корила за кражу и противилась тому, что оно достанется воронам. И все-таки, я убедил себя отсидеться, пока не окрепнет снег. К тому же хлеб кончился, и в бане пора помыться... Всё! Отдыхаю!



Установились ясные дни. Градусник, подвешенный на березе, показывал 18-20 холода, в прогретой избушке было тепло. На третий день после возвращения из егерского зимовья словно грязной простынькой накрылось небо, опять запахло приближавшимся снегом, и я заспешил. Лыжи и нарты просохли, лыжня была присыпана снегом. Опять налегке, без ружья, но с топором, я дошел до останков изюбрихи, едва бугрившихся под слоем снега. Волчьих следов не было. Они бросили добычу, заподозрив, что я её отравил или обставил капканами. В осторожности и уме им не откажешь. Только в сказках лисы хитрей волков, по уму эти звери не сопоставимы. Поблизости от туши не было и ворон. И только один обленившийся соболек скромно кормился дармовым мясом, хотя не так как рябчиками, после которых волок брюхо по снегу.

Насмешливо молчала тайга, наблюдая за мной тысячами глаз. Наверное, и волки, глядя издали, что-то соображали своим настороженным умом. Солнце тусклым фонарем просвечивало сквозь низкое небо. По своей человеческой логике я обмёл промерзшую, почерневшую часть изюбрихи, стал вырубать её изо льда топором и ножом. Скрежет и хруст глумливо портили таинственную тишину леса, ждущего нового снегопада.

Провозившись дольше часа, я разрубил останки изюбрихи на две части, прибил к ним стегно, припрятанное в ветвях кедра, погрузил на нарты коробку с консервами, подкрепился у костерка хлебом и городским чаем со сгущенным молоком, отдохнул и не спеша двинулся в обратную сторону. Начиналась метель: ветер, меняя направления, то вздымал снег из-под ног, то клубами дыма уносил его куда-то во тьму. Вернулся я затемно с чувством исполненного долга, уставший, но не измученный. Мясо и консервы оставил в нарте до утра. Избушка не сильно выстыла за день и так радовалась моему возвращению, что казалось, будто я слышу её суетливое привечание.

Весело гудела жестяная труба. Вода, оставленная в кастрюле, покрылась корочкой льда, но не промерзла. Идти к речке, чистить прорубь не хотелось. Я вышел из-под кровля набрать снега в чайник и порадовался своевременному возвращению. Нешуточная метель заметала мой след, выдававший избушку незванным гостям: в пяти шагах не было видно даже ближайшего соседа — старого кедра. Пожалела тайга путника, претерпела свои страсти до конца моего пути: знать, не прогневил её мясом, не вполне честно отобранным у волков. Это они переоценили моё коварство.

Ветер выл всю ночь. Под крышей шуршали веники, среди них рысь выискивала места потеплей, шебаршили мыши под нарами, им нельзя впадать в спячку при любой погоде, но пока они не нагнели, не лезли на стол и в спальный мешок. В полуяви я с упоением слушал музыку зимнего леса, впадая то в сон с мелькавшими видениями, то поднимаясь в дремоту, при этом чувствовал себя вполне счастливым и обеспеченным, как медведь, нагулявший достаточно жиру, чтобы безбедно зимовать в надежной берлоге.

Почти весь день я провёл в зимовье: наводил порядок в лабазе, оттаивал останки изюбрихи, освобождал от подранной шкуры, обрезал волчью жеванину, варил мозговые кости, перекручивал мороженое мясо мясорубкой и замораживал кусками. Мясо в шкуре не протухло, но задохнулось. Особенно явный душок шёл при жарке котлет. В ресторанах и столовых такие блюда, понятно, не подают. Я подул на котлету, остудил, попробовал, крикнул и утешил себя тем, что при специфическом запахе это мясо здоровей полусоевого фарша. Так или иначе, белком я был обеспечен.

Котлеты стыли, хлеб был свежим, я обстучал ножом и переломил проварившиеся кости, вытряхнул из них мозг. Для ужина на одну персону его было многовато, но я не удержался и, опасаясь расстройства желудка, съел мозг из двух ног. Расстройства не случилось, но долгая зимняя ночь мстительно мучила эротическими снами: покойная жена, забыв последнюю размолвку, дарила с того света такие жаркие ласки, что я просыпался едва ли не взбешённый, затем снова засыпал, и всё повторялось. Я продирался в полуявь и рассеянно думал, не сбегать ли в город: два дня туда, два обратно, ещё по дню туда и обратно в поезде, к своей трансконтинентальной любви из Западной Сибири.

Холодное утро остудило страсти и навеяло тихую печаль по нормальной жизни: добрая ласковая женщина, дети, внуки, что еще нужно было в той, промелькнувшей жизни? Кабы не пустые склоки, раздоры, вечное раздражение и недовольство бытом, страх быть бедней других, может быть, и сложилась бы счастливая жизнь... В какой-нибудь малолюдной деревне, поближе к лесу, с неизбалованной достатком женщиной... Без навязчивых мечтаний детства и юности о жизни, которой живу сейчас...

Я помотал седой головой с длинными отросшими волосами, спутавшимися с бородой. Вздохнул: все опробовано!.. Одной рукой нехватишь грудь и ягодицу. С тоской пробормотал: «Августин, милый Августин! Все прошло давно. Прошло!» Забыть бы, забыть про всё, да не получается. Сытость навевала тоску, от которой не спасал припас разведённого спирта, разбавленного якобы французским коньяком. Я выпил, наелся разогретых котлет с душиком, напился чаю из толченой чаги и с затуманенной головой вытянулся на нарах, бормоча: «Скалолазу оглядываться нельзя! Особенно если идёшь без страховки». Но старый зловредный редактор, будто ждал этой слабости, выстрелил бекасином, если не солью. Постонав и поыв, я чертыхнулся в его адрес: «Врёшь, хрен старый! Подкидываешь мёртвые картинки, лишённые духа, которым всё сопровождалось и мотивировалось в своё время. Значит, травмишь ложью!» На какое-то время вредный редактор озадаченно притих, зачесал лысину, а я уснул.

К полудню выполз из спального мешка, оделся и с хмельной ещё головой пошел готовить дрова. Этого добра всегда не хватало. В сумерках очистил прорубь, баня — первое средство от тоски. Надо было сходить в пихтач и наломать февральских веников, особо полезных для старых суставов.

Реальная, таёжная жизнь стала обретать прежний смысл: ровней стучало сердце, единясь с окружением тайги, избушки, с отдыхающей на крыше рысью и даже с пакостливыми мышами. Отмытый и отпаренный, с запахом хвои от кожи, я снова почувствовал силу, которой начала было противиться душа. Эта сила осторожная, тайная, вкрадчивая. Её особенно явно чувствуешь, находясь среди природы. Она не навязывается, редко вмешивается в обыденные дела, но следит за тобой и всегда рядом. Уж я-то это знаю. Хотя бывает, в самые трудные минуты чувствуешь — нет ей до тебя никакого дела, ты одинок в мире, и непонятно отчего тебя тянуло неведомо куда. Разве потому, что в другом месте ещё хуже? К этой силе надо прислушиваться, не гневить, не мнить себя её любимцем и избранником. Она этого не любит, терпелива только до поры: молчит-молчит, да и шлепнет как ребенка — ничто так не развращает людей и зверей, как безмерное добро. Вот и думай, что есть твоя жизнь, кто ты в этом мире, и с кем лучше разделить старость? А выбор прост: шприцы, капельницы, палаты, бизнес-конвейер похорон или единение с этой силой, с душой тайги, со слаженным и вечным миром деревьев, скал, мха, цветов. Так забудь про всё и живи как зверь, сумерки — лучшее время суток!

А снег всё падал. Январь не был беден осадками, а к середине февраля будто прорвалось небо, сравнялся мой след лыжни, избушка утонула в сугробе, в ней стало теплей. Я радовался, что вовремя запасаю продуктами и дровами. Ползать по пояс в снегу, выскивая сухостойный валежник — мало приятного. Где-то грохотали трамваи, пыхтели автобусы, люди спешили по делам, радовались удачам, печалились в городских пробках, где бок о бок пыхтели машины свадебных кортежей и ритуальных услуг. Все это было далеко, в другом мире, который недоступен для меня, как и я для него. Мы не пересекались, по крайней мере, в это время. Выпестованный городом, старый вредный редактор был в коме, моя душа растворялась в снегах, голова работала ясно и образно, мыслилось рассудительно: не было ни прошлого, ни будущего, ни начала, ни конца, я был частицей холодного белого мира. Видимо, так осознают себя звери. Вместе с ними я ждал тепла и солнца.

Зачесалась голова. Надо было топить баню, а на её месте бугрился круглый сугроб. Я стал разметать его ногами, но понял, что это дело долгое, решил сходить за лопатой на речку, к проруби. Тропа к ней была протоптана. Проходя мимо ели, заметил под ветками шевеление, разгреб снег и нашел у корней полуживую козу. Истощенная, она печально смотрела на меня и даже не пыталась бежать. По моему следу сюда непременно придет рысь, тоже оголодавшая, и съест её. Жалко было немощную козочку. Сколько их вокруг, не имеющих сил добраться до сухой травы?! Но помочь этой несчастной было в моих силах.

Я вернулся с лопатой, снял из-под крыши пару осиновых веников, раскопал копенку сена, выкошенного вокруг зимовья ради пожарной безопасности. Принес веники и охапку сена. Коза даже не пыталась уйти с лёжки. Я сунул ей под нос веник. Она слабо пошевелила ноздрями, неохотно взяла листочек траурными черными губами, показала краешек розового языка. Я бросил ей второй веник и завалил подход сеном.

Надо было расчистить и раздолбить прорубь, но это не первоочередное дело. Поелозив шапкой по макушке, я отправился разгребать копёнку, потом осину, еще летом поваленную ветром. Лист с неё не опал, но засох зеленым на умершем дереве. С него я наготовил веников на зиму. Осина была старой, с пышной раскидистой кроной, но прогнившим комлем. Веников с ветвей хватило бы на целую деревню. А снег так завалил её, что мне пришлось хорошо поработать, чтобы хотя бы частью обнажить ветви и указать козам, что еда здесь есть. Вот только и ленивой своей квартирантке я указывал, что еды здесь может быть много. Утешало, что у коз ноги длинней рысьих. Дуры конечно. «Красивые, глупые, нежные...» — пропищала в памяти полузабытая сентенция из параллельного мира.

Заморозив на ночь тесто, баню я топил на следующий день. Пошел за водой и увидел след козы, выбравшейся из-под елки. Оставались принесенное мной сено и потрепанные веники. Коза окрепла и ушла живой из-под носа у барахтавшейся поблизости рыси. Не было кошачьих следов и возле осины. Настал банный день, стирка, выпечка хлеба. К ночи, усталый, но чистый и сытый, я плотно подкрепился котлетами с душиком и вареным рисом. Ярко и празднично светила на столе лампа, потрескивала печка. Выстиранную одежду на натянутой веревке выбеливал снег.

Под утро зашуршали веники под крышей, вернулась на отдых квартирантка. Я зевнул, перевернулся на другой бок и подумал, что надо бы посмотреть, на каких кормах она живет. На завтрак у меня была картошка с подсолнечным маслом: я бросал её промёрзшей в кипящую воду. Она сластила, но была вполне пригодна

для еды и даже в радость, поскольку варил я её нечасто. Вскоре меня порадовали козы следы возле упавшей осины и копенки сена. Умиравшая козочка привела на корма друзей. Рысь подходила к ним, но следов борьбы и крови я не нашел: чем мог помог тем и другим, дальше разбирайтесь сами.

Снегопад прекращался медленно. Еще пару дней в воздухе серебрились снежинки, затем небо очистилось, выглянуло смущенное солнце, появились первые, робкие запахи весны. Еще через пару дней над моим окном повисла сосулька, а в полдень на её острие заискрилась капля талой воды. Я достал календарь и высчитал март. Кончился зимний месяц лютень, наступил весенний месяц березень.

Теплело, оседал снег, обнажая мою избушку и упавшую летом осину. Козы ходили к ней даже днями, рысь с потеплением подалась на другие лежки. Мою падь прошивали порывы ветра, стряхивая снег с деревьев. Беспорядочно шуршали веники под крышей. Их было запасено в избытке, и добрую половину, по большей части осиновых, я развесил по нижним веткам на корма козам. Не появлялся прикормленный горностаи. Охота на мышей стала утомлять. Десятки трупиков серым крапом лежали на оседавшем снегу, а когда они были обнаружены воронами, стало того хуже. Наглые крикливые птицы, насытившись, рассаживались на крыше зимовья и орали дурными голосами, требуя добавки. Несколько раз я порывался пальнуть по ним дробью, и всякий раз удерживался, опасаясь за ружье, которое вскоре могло пригодиться и даже спасти жизнь. Стрельба по воронам и собакам, по какой-то мистической причине, портила оружие, сбивала прицел. Это я хорошо знал по опыту.

Вода, баня, хлеб, недалёкие прогулки, безделье, лень, наблюдение за закатом и умиравшим днём, переходящим в ночь, размышления возле печки не располагали к веселью. Признаки знакомой хандры и бессмысленная редакция прошлого стали доводить до бессонницы. Поленица порубленного хвороста была ещё в рост. Дров могло хватить на месяц. Поблизости от избушки сухой был вырублен. На горе его много, а спускать хлысты зимой легче, чем летом. Но снег садился, протоптанная колея выпирала спрессованным бугром. Ходить этим местом было трудно, разумней подождать и заняться дровами при мерзлой земле.

Наконец появился наст, который до полудня хорошо держал лыжи. Двигаться по нему было легко, катиться приятно. Я стал уходить на расстояния, которые летом давались трудно. Поднялся по ручью к месту упокоения моего медведя. Его голова и остов лежали под тем же, перепачканным пометом деревом. Другие кости были частью растащены. Птиц поблизости не было, но были следы лис, а это значило, что в снегопады волки ушли ближе к людям.

Падь была тёмной, солнце сюда заглядывало редко и ненадолго, потому наст держал мой вес. Я без труда поднялся на плато и вышел на свежий медвежий след. Медведица с медвежонком, путавшимся у её лап, уходила на южные склоны хребтов. У меня и мысли не было сдать охотникам берлогу, хотя «дворяне» платили за это хорошие деньги, мне просто хотелось посмотреть, где зимовала хозяйка тайги. Я пошел в обратную сторону, куда указывали пятки медведицы, и вскоре обнаружил еще один след. Это был пестун, перезимовавший с матерью. Судя по следам, медведица гнала его от себя. Он отбегал и снова возвращался за ней, пока она не бросалась на свою недавнюю радость, за которую готова была отдать жизнь. Но появилась новая привязанность, на том родство с прежним сынком заканчивалось. Медведица научила его всему, что необходимо знать и уметь, дальше он должен жить сам. Жёстко, но не жестоко, и даже справедливо. Мне повезло,

мой сын, рождённый по «воле рода», был самостоятелен, в то время как у иных знакомых дети сидели на шее родителей до сорока лет, потом пересаживались на своих детей, которых вырастили старики. Они проживали жизнь паразитами, и старились, видимо для того, чтобы в другой раз родиться глистами.

Раздумывая об этом, я легко скользил по насту в виду медвежьих следов и вошел в густой молодой осинник, где лыжи пришлось снять. Я долго продирался сквозь заросли, потеряв следы медведей, и резко остановился в некотором недоумении. Сначала мне показалось, что на горе к кряжистой лиственнице пристроена аккуратная избушка. В бинокль рассмотрел, что сделана она из лапника, да так умело, что и балаганом не назовешь: покатая крыша, стены. Для людской стоянки место было совсем не подходящим. Да и дерево посередине... Но ниоткуда, кроме как из неё, медвежьи следы исходить не могли.

Я не стал топтаться возле строения, не решаясь заглянуть внутрь не из страха, а по нежеланию осквернить умно построенную избушку. Постояв в отдалении, своим следом вернулся к оставленным лыжам. На обратном пути мне стал понятен выбор медведицы: бесшумно подойти к её балагану невозможно. Поднималось солнце, раскисал наст. Можно было вернуться своим следом или уйти в другую падь и ночевать у костра. Снегопада не предвиделось, ночлег под небом меня не пугал. Времени для того, чтобы устроить его, было предостаточно. Пожалуй, я даже скучал по звездам над головой, и, пока наст удерживал лыжи, повернул в другую падь, затем перебрался на её солнечный склон, местами вытаявший до прошлогодней травы, вошел в кедрач, перемежавшийся старым, кряжистым осинником, и остановился, замороженный уединенным и скрытым местом.

Вершина водораздельного хребта была близка, южный склон покрыт чистым старым лесом почти без кустарника: мох, поникшая трава и камни с причудливыми наростами льда, из-под которого сочилась вода, где-то внизу собиравшаяся в ручей. Вода рядом, множество дров, закрытость сверху — идеальное место для уединенного житья. От восторга заволновалась грудь, и перехватило дыхание, наверное, то же самое чувствовали мои предки, отыскав удобное место для будущего селения. Я будто узнал что-то потаённое или попал в неведомую страну. Осмотрелся внимательней и чуть не плюнул от досады. Среди бурелома валялся блестящий предмет, оставленный человеком. Видимо вездесущие туристы навевались и сюда.

С кислой усмешкой в бороде я подошел, нагнулся и поднял сдутый серебристый шарик в виде сердца. На нем красной латиницей надпись «I love you!» Городская безделица упала с неба. Она и остудила моё очарование. Продукты с неба не забросишь, по крайней мере, моей пенсии на это не хватит. И возраст не тот, чтобы начинать всё заново. Я вздохнул и стал высматривать место для ночлега. Солнце уже наполовину скрылось за дальним хребтом, веселый безветренный закат навевал ностальгию по чему-то несбывшемуся.

Передо мной был камень: обнажившаяся скала, окруженная деревьями, на некрутом склоне. Она нависала над землей, образуя неглубокий грот, в глубине которого виднелась сухая желтая листва. Здесь я и решил развести костер, прогреть землю и камень для ночлега. Расчистил ногами и отбросил в сторону снег, стрёб толстую подстилку из прелых листьев и веток. Грот заканчивался небольшой пещеркой, в которой могли укрыться волк или рысь, но следов логова не было.

Сухостоя вокруг могло хватить на несколько лет. Я развел большой костер, надрал коры с валежника, пряно благоухавшей какими-то фруктами, сделал себе

лежку в стороне от огня. Камень срабатывал как экран, было тепло и сухо. Метались искры, выписывая во тьме замысловатые пируэты, скакали тени огненных языков, будоража душу смутными чувствами пещерных времен. Вдруг я заметил, что огонь не только лижет наклонный свод грота, но и уходит в пещерку, которой заканчивается. Как ни приятно было лежать в тепле, я поднялся и надел куртку. Крепчающий мороз, не заметный возле костра, защипал щеки. В полной тьме, накрывшей глаза после наблюдения за пламенем, я почти на ощупь поднялся по склону и увидел струю дыма, поднимающуюся из протаявшего снега. Мой грот имел естественный камин. Если прикрыть скалу сухостоем, мхом, завесить вход палаткой, можно и перезимовать, конечно, если камин не будет вытягивать все тепло. Но его можно заткнуть! Вопреки здравому смыслу, мои мысли строили здесь таёжное жильё.

Я подбросил в костер толстых сучьев и комель старой осины. Огонь действительно раздваивался, малой частью ныряя под землю, но основные его языки лизали наклонный свод грота. Костер прогорел. Я смёл тлевшие угли в камин, очистил парившую землю, уложил слой коры, на неё траву и листья, выбранные с этого же места. Они быстро прогрелись. Я постелил сверху теплозащитный коврик, раскинул спальный мешок, разделся и влез в него. От земли и от камня веяло теплом, уносившимся в холодную ночь. Была бы палатка, можно ей завеситься и ночевать как в зимовье. И все же ночь прошла приятно. Я хорошо отдохнул и долго лежал в мешке, ожидая рассвет, вспоминая фрагменты снов, заново впадая в сладкую дрему, пока не увидел розовые блики на верхушках деревьев.

По возвращении в зимовье, пара дней ушли на отдых, баню и выпечку хлеба, затем я сходил в егерскую избу и вынес остатки продуктов, подвязанных к потолку. Мыши и белки не добрались до них. С каждым днём становилось теплей, на обратном пути лёд речки местами покрывали лужи, по которым я катился на мокрых лыжах. Крыша моей избушки совсем очистилась от снега, сугробы, которыми были утеплены стены, просели и почернели. Я растопил печку, просушился, достал календарь и не ошибся: был канун равноденствия, зима пережита.

В конце второй декады марта, судя по календарю, день и ночь сравнялись по двенадцать часов. Я вспорол последнюю банку тушёнки, приготовил макароны по-флотски и загулял на самый древний Новый год. Денёк стоил того. Земля обнажалась сухой травой, отогревала и благоухала прелью. Появился чуть приметный еще запах берёзового сока. Тайга оживала. Начиналась новая жизнь очередного пробуждения природы.

Сидя без шапки на крыльце, я желал вечности Небу, Солнцу, Земле-матери, тайге, в которой живу, и ощущал себя их частью. Снисходительно помалкивали они, вглядываясь в меня сотнями глаз. Замерли знакомые деревья. Я смотрел на их верхушки в синем небе, душа парила, упиваясь вечностью, нерукотворной красотой и музыкой тишины.

Три синички боязливо прочирикали, сели на краю крыши, покосились на мой стол из расколотой чурки. Я протянул им ладонь с крошками. Они топтались на месте, не решаясь разделить со мной трапезу, хотя я их подкармливал всю зиму. Откуда-то бесшумно спланировал поползень. Вцепившись в венец, торчавший из стены, лёг боком на воздух, взглянул на крошки черным глазом, схватил кусочек хлеба с ладони, спорхнул на вытаявшую землю в метре от моего стола и стал расклевывать, насмехаясь над осторожностью синичек.

Вдруг надвинулась тень, порыв ветра пробежал по ветвям, сбив на оттаявшую траву дождь сухой хвои. Улетели синички, вспомнилась первая, в детской

страсти бессмысленно убитая птичка. Старый вредный редактор стал скаредно напоминать по юношеской дури убитых зверей и птиц, срубленные деревья и последний кедр неподалёку от зимовья. На нём было много шишек. Опасаясь, что их снимут кедровки, я обстучал дерево колотом с трёх сторон, и на следующий год оно пожелтело. Разбудил Бог совесть, и пронзила она минуту назад безмятежную, умиленную душу. Как много зла и боли я сделал этому прекрасному миру за свою жизнь. Захотелось завывать, задрав голову к небу, просить у тайги прощения, которому прощения быть не может. Я плеснул в кружку разведенного спирта с запахом французского коньяка, выпил залпом то ли сам, то ли напоил вредного редактора. Но он сломался и умолк. Мне полегчало. Снова надо мной было синее небо с покачивавшимися верхушками пробуждающихся деревьев. Где-то рядом стучал дятел. С оттаявшей поляны на горе доносился ток тетеревов.

Я подрёмывал на крыльце, завернувшись в пуховку. Время от времени поднимался и подтапливал печку. Редактор был в отрубке. Проводив весенний денёк до сумерек, и я улегся в теплой избушке, завернувшись в спальник. Ночь, которая была короче предыдущей, прошла в коротких волчьих снах: бесчинствовали мыши, сварливо, с укором потрескивал фитиль керосиновой лампы. Окончательно проснулся я засветло. Было прохладно, но не холодно. На выстывшей печке, с важностью задрав нос, стоял мой чайник, покрытый толстым слоем окаменевшей копоты. Терпкий настой бадана не застыл за ночь. Я напился прямо из носика, оделся и вышел за дверь. Лужи возле избушки прихватил ледок, но весна уже дышала в лицо пряными запахами жизни.

После завтрака я проверил бензопилу, сунул за пояс черенок топора и полез на гору к валежнику и сухостою. Пока земля была мёрзлой, спускаться к избушке хлысты было делом не слишком трудным, летом на эту работу требовалось больше сил. Всё ярче и теплей светило солнце, голубело небо, казалось, в воздухе носятся запахи оттаивающей хвои и бересты. Всю неделю я пилил и спускал вниз сухостойные стволы деревьев, по большей части осин. Осиновые дрова сгорали быстро, но их было много. К тому же, просохшие до звона, мёртвые деревья были пожароопасны. Кроме обыденных работ, я осознанно выслуживался перед тайгой, замаливая прежние вины.

Была пятница. Предвкушая очередную баню, хлеб свежей выпечки, я присмотрел сухую, мёртвую рябину для разогрева каменки. Ударил под комель топором — она загудела едва ли не со звоном. Я оценил будущее топливо. Но дерево продолжало гудеть и даже набирать силу звука. Озадаченный, я сел, с любопытством разглядывая сухостоину, потом потряс головой — не начались ли глюки? Но звук усилился настолько, что не узнать его было уже невозможно: в чистом небе всё громче и вульгарней грохотал вертолет. Я едва было не кинулся под ближайшее дерево. Но он дал круг над моим лесом, над речкой, снизился над поляной, о которой мы договаривались с генералом. На лету приоткрылась дверь, из неё вывалился темный ком. Вертолёт взмыл вверх, а ком расправил над собой парашют-парус и полетел к земле.

Я всё понял. Срубил сухую рябину, сволок вниз, по насту отправился к обусловленному месту, издали увидел свёрток, прикрытый куском палаточного холста, использованного для парашюта. В старой ватной куртке, перетянутой шпагатом, была солнечная батарея для подзарядки сотового телефона, и жестяная банка консервированной селедки. Генерал юморил, прислав закуску к оставленной в зимовье выпивке!

Я вернулся в избушку. Первым делом съел селедку со слегка зачерствевшим хлебом прошлой выпечки. Хотел оставить половину банки на вечер после бани, но не удержался и вычистил её, затем отыскал сотовый телефон с подсевшей батареей, свои запылившиеся очки, стал внимательно вычитывать инструкцию солнечного зарядника. Сразу захотелось поговорить с близкими людьми, узнать, какая пенсионная сумма скопилась на карте, но до ближайшей надежной «телефонной будки» на берегу речки день хода, если, конечно, вода не пошла по верху льда. Переночевать можно в балагане. Заодно поискать другие точки связи.

Соблазнившись общением, я ушёл на два дня, а возвращался через полторы недели с одеждой, зловонно пропитанной запахом табака и выхлопных газов, чихая и кашляя, как чихал и кашлял весь город. С каждым часом всё болезненней скручивала тело усиливающаяся хворь, вязала мышцы слабость. За время моих городских скитаний тайга заметно преобразилась. По многим знакомым местам, покрытым сугробами, обнажилась земля. Подо льдом шумела вода, местами её разливы превратились в непроходимую кашу. Приходилось карабкаться по крутому берегу и скалам с одной мыслью: успеть добраться до избушки, прежде чем разболеюсь.

На середине пути в тенистом холодном распадке, на сохранившемся зернистом снегу, отпечатались свежие следы нестарого медведя. Видимо, он голодал после зимовки и, тщательно вынюхав кучу изюбриных катыхов, ушел вверх по речке, на промысел мяса. Ко всему, что мне приходилось претерпевать из-за вирусной заразы, только с ним встречи и не хватало. Погода тоже не баловала: то ярко светило солнце, то среди дня наступали сумерки. К вечеру заморосил первый дождь, но избушка была рядом. Бог милостив, по молитвам я всё же добрался до зимовья. Оно было целым, не разорённым. В пути не встретились ни зверь, ни человек.

Я ввалился в выставшее, отсыревшее жильё, сбросил рюкзак, зажёл растопку в печке, откинулся на нарах в проволгллой одежде и лежал, вздрагивая от тупых ударов сердца, пока не начало знобить тело. Избушка наполнялась теплом. Надо было подбросить дров, сходить за водой. Вместо этого я переделся в сухое и залез в спальный мешок. Тело то знобило, то начинался жар. Я проснулся или очнулся среди ночи с сухим горлом, забитым носом, болезненной слабостью во всём теле и почувствовал рядом с собой присутствие покойной жены. Я узнал её по запаху и обрадовался, что она не бросила меня после того, как отказался от нового супружества, после измен в полуреальной реальности городов. Жалко усмехнувшись, пролепетал: «Что? Пора уже?»

Она что-то быстро и раздражённо говорила, явно ругала. Я слышал её голос, по интонациям понимал, что она сердится и понуждает лечиться, но не различал слов. «Надо! Надо!» — проворчал чужим, сильным голосом, кое-как приподнялся на локте, чтобы растопить печь, согреть чайник, в котором позвякивал лёд. Запас дров и бересты в избушке был, была замёрзшая вода в чайнике и лёд в пятилитровой пластиковой ёмкости, которую не хотелось разрезать. Не выползая из спального мешка, я протопил избушку, напился горячей воды из старого чайника, поставил пластиковую ёмкость за печку, свернулся калачом и снова впал в полусон-полузабытьё. Когда очнулся, было светло и холодно. Дрова в избушке кончились. Перебарывая слабость, пришлось одеться и выползти за дверь.

Была весна. Земля желтела слоем прошлогодних листьев, хвои и примятой снегами травы. Под ней уже зеленела новая жизнь. В синем небе оживлённо по-



качивались верхушки деревьев. По крыше весело скакали синички. Они узнали меня и ждали крошек. Я принес охапку дров, растопил печку, вспорол ножом пластиковый пэт, отколот кусок льда, растопил его в кастрюле и запарил упаковку «доширака», чтобы попить чего-нибудь горячего и солёного. Принесённая из города зараза еще ломала и скручивала тело, кружилась голова, но я уже выкарабкивался из видений и кошмаров, содержания которых не помнил, помнил только ощущения.

Ещё пару суток я провалялся, подтапливая избушку, готовя незамысловатую похлёбку. По утрам иней прихватывал прошлогоднюю желтую траву и листья. Весенняя солнечная ясность то и дело менялась дождём, просекавшимися снежинками. Опять светило солнце, а через несколько минут начинался снегопад. Пушистый зимний снег степенно ложился на сырую землю и вскоре таял.

Ночи были тяжкими и муторными, болели суставы и поясница, шумело в голове и ныло сердце, но вирусную заразу я, похоже, переборол. В моём лесу наступило время берёзового сока. Еще чувствуя телесную слабость, я поднялся на гору, испросив прощение у толстой берёзы, засверлил её кору и вбил в отверстие крепкую сухую трубку борщевика. Закапал сок. Я поставил ведро и вечером принёс его домой наполовину наполненным. Берёза оказалась щедрой.

Я напился душистой сладковатой воды, залил соком чайник и котелок. Отпала необходимость ходить на речку за водой. Я готовил на соке травяные напитки, еду, я им умывался, ставил опару на тесто и сливал остатки в банный котел: два раза в сутки ведро наполнялось на две трети своего объема. Подходило время черемши, которой мне хотелось до зуда. В полудне спокойной ходьбы она появлялась раньше других известных мне мест. Я взял хлеб, сахар, кусок принесённого из города сала, горсть сушёной черники, почитал утренние молитвы, кланяясь на сереющий восток, попросил святых покровителей уберечь от встреч со зверьми лютыми, с людьми всякими и отправился за черемшой до восхода солнца.

Утро выдалось пасмурным, с запахом дождя или даже снега. В случае непогоды я предполагал вернуться. Но вскоре сквозь тучи пробилось солнце, бросив тени деревьев на робко зеленевшую траву и кустарники. Потеплело, осторожно и ласково стали лнуть к лицу первые, редкие комары. Вскоре и вовсе распогодилось. Я весело шагал по звериной тропе, проложенной по вершине гривы, оглядывая сверху дневную жизнь долин. И на поляне, где предполагал встретить первые зелёные листочки пробившейся черемши, остановился как вкопанный. Из кучи сухой травы и лапника торчали резиновые сапоги, явно обутые на ноги. Первой была мысль, что медведь задрал человека и прикопал, чтобы подтушить. Я торопливо скинул с плеча ружьё, взвёл курки, внимательно осмотрелся, откуда вероятней ждать броска. Взглянул ещё раз на сапоги и усомнился, что они на трупе: сапоги торчали в естественно живой позе.

Крадучись я подошёл к куче и концом стволов приподнял лапник. Под ним лежала женщина. Она открыла глаза, сжалась в комок и так завизжала, что у меня заложило уши. В следующий миг, проморгавшись и протерев глаза, она громко заревела, заливаясь слезами.

— Заблудилась что ли? — присел я и спустил курки.

Удивление, радость, испуг разом отразились на измождённом боязливом, занемевшем лице старухи, жалком и беспомощном. Она робко отёрнулась в сторону, затем потянулась ко мне, сморщилась в плаче. Истончавшие губы её дрожали, подступивший спазм мешал говорить. Наконец, немного успокоившись, она выдала из себя: «Заблудилась!»

Уже по её виду всё было понятно. Я разломил надвое полубулку свежего хлеба, протянул ей четвертинку, развел костёрчик, принес воды в котелке и повесил над огнём.

— Давно блуждаешь? — спросил.

— Давно! — промямлила она, тщательно, без жадности пережёвывая хлеб, сжимая краюху двумя руками.

— Сама-то откуда?

Она назвала посёлок. Я присвистнул.

— Далеко ушла! На гору-то зачем полезла?

— Оглядеться, вдруг чего увижу! — Прожевав, она всхлипнула. — Ночами плясала, чтобы не замёрзнуть, зарывалась в хвою. Днём на солнце спала. Потом шла до вечера. Снова мучилась ночью. Ох уж эти ночи... Спаси Бог!

Вода в котелке с сушёной черникой согрелась, я подсластил её, подал, кивнув на хлеб:

— Не жалко, но, может быть, хватит для начала, а то плохо будет. Попей вот, отдохни, потом еще поешь.

— А ты кто? Лесник? — Бросила на меня пытливый настороженный взгляд.

— Вроде того! Сразу тебя не выведу до электрички. Окрепнуть надо. Отдохни, а я черемшу соберу, и пойдём ко мне в зимовье. Там есть продукты, накормлю вволю... Потом верну к людям, — усмехнулся.

Судя по голосу, женщина была много моложе, чем выглядела. Тонкие губы, не прикрывавшие зубов, глубокие борозды от крыльев истончавшего носа вокруг подбородка, сетка морщин по щекам: на первый взгляд ей можно было дать и полную сотню лет.

Она доверчиво кивнула, неохотно оторвалась от хлеба, всхлипнула, прилегла на бок и быстро уснула. Я набрал черемши, которая едва вылезла из земли на десяток сантиметров, до изжоги наелся листьев, а женщина всё спала. Солнце склонилось к закату, вернуться в избушку до темноты уже и один не успевал, вести измождённую голодом было вовсе поздно. Пришлось готовить ночлег. Она проснулась на закате, отдохнувшая и помолодевшая. Прогреть землю, горел костёр. Я подал ей котелок с остывшим отваром черники, разломил надвое оставшуюся четвертушку хлеба, отрезал тоненький пластик сала.

— Если не скрутит дам ещё! — пообещал, указывая глазами на сало.

— А ты? — смущенно спросила она, увидев, что мой рюкзак пуст.

— Я черемши переел. Ничего в горло не лезет. А ночевать придется здесь и без спального мешка. Тебе привычно?! — усмехнулся, пытаюсь шутить.

— Не дай Бог никому таких ночей. — Её истончавшие губы снова задрожали. — Кроме куска полиэтилена и плаща с жилеткой у меня ничего нет.

— Придется перебиться еще одну ночь. Идти уже поздно.

Я оставил её с хлебом, салом и отваром, спустился к толстой березовой валёжине и надрал листами бересты. Вернулся к костру, вывалил возле него кучу.

— Попользуемся вместо одеял и матрацев, — пояснил. — Ты лежи! — Остановил дёрнувшуюся было женщину. — Я всё приготовлю.

Мы сносно переночевали под небом и берестой возле тлевшего костра. На рассвете напились все того же отвара, я пожевал сала вприкуску с черемшой и вместе с женщиной отправился в обратную сторону. По пути мы часто присаживались и отдыхали, но к избушке добрались засветло. Перекусив хлебом с сахаром, я принялся кашеварить.

После ужина, сытые и отдохнувшие, мы сидели на крыльце, наблюдая, как засыпает день и зажигаются звезды.

— Дома, наверное, уже похоронили?! — смущенно улыбаясь, вздохнула она. — Какой сегодня день? Сын с мужем с ног сбились, ищут?!

Я достал календарь, зачеркнул два последних числа. Она удивлённо покачала головой:

— Неужели пятнадцатый день?! Ела только черемшу, прошлогодние сухие ягоды, сосновые побеги. Чудом жива! Чем отблагодарю тебя? — Взглянула ласково.

— Чем женщина может отблагодарить одинокого мужчину? — рассмеялся я и понял, что сказал глупость.

Она вздрогнула, её истончавшие губы опять задрожали, ладони взметнулись к груди, будто собиралась ими оттолкнуть меня, со слезами вскрикнула:

— Да какая из меня полюбовница?

— Шутка! Это вообще, в целом! — смутился я и мысленно чертыхнулся: измождённая старушка не вызывала никаких чувств, кроме сострадания. — Ты спросила, я ответил... Сдуру!

— Отведёшь? — спросила она, жалобно шмыгнув носом, и выжидающе посмотрела на меня.

— Конечно, отведу! Какой разговор?! Не стану удерживать, как медведь девочку Машу. Окрепнешь и пойдем. За день не дойти. Далековато ушла... Как зовут-то?

— Маша! — тихо ответила она, и вымученная улыбка мелькнула на её лице. — Когда пойдём?

Я рассмеялся:

— А меня — Миша! Как скажешь, так Медведь и ответит. Но завтра тебе лучше отдохнуть. Я баньку истоплю, помоемся, одежонку постираем... Не бойся, найду тебе рубаху, — успокоил, почувствовав, как она опять напрягается. — А нары у меня одни. Ляжем вальтом. К стенке или с краю, выбирай сама.

Прошла настороженная ночь. Я хорошо отдохнул и утром понял, что она почти не спала, пережидая темень. После завтрака мы наносили полный котел воды, потом наполнили повеселевший бочонок с прищуренным глазом, который подозрительно и насмешливо высматривал гостью. Она долго разглядывала берёзовый ковш и восхищалась им. Чуть согрелась вода, переделась в мой свитер, который был ей до колен как платье, выстирала свою и мою одежду. Своё нижнее бельё развесила в стороне от избушки, по-хозяйски оглядела меня, сидящего возле бани с рассыпавшимися по плечам волосами, кивнула:

— Могу подравнять, если есть ножницы. К твоей бороде пошла бы косичка.

Я удивлённо помотал головой и запустил пальцы в вислые лохмы:

— Все эти афро-евро приколы — не мой фасон.

— Могу сделать причёску. Своих мужиков стригу сама, — согласилась она.

Страница молодела на глазах, и не столько лицом, сколько движениями, манерами, но спрашивать её про возраст было неловко и не время.

Я принес ножницы, сел на пенёк, наглухо застегнув ворот рубахи.

— Смолоду стригся под модельную. Сможешь? Если еще есть, что стричь?!

— Есть! — тихо рассмеялась Маша и профессионально застрекотала ножницами.

После стрижки я собрал волосы в пучок, чтобы сжечь в бане.

— Надо же?! — удивился. — Еще даже не совсем жгучий блондин.

— Не совсем, — согласилась она. — Седина бобра не портит.

— Бобра — может быть, а бурому медведю не к лицу!

Я нашел в избушке карманное зеркальце, которое держал, чтобы осматривать иные места от клещей. Взглянул, новой причёски на немойтой голове толком не рассмотрел, но поправил ножницами бороду.

Маша отказалась идти в баню первой, ссылаясь, что ей надо только помыться, париться она не любит.

Ну и ладно! Я не спеша напарился, выпил ковш берёзового сока, ополоснул им стриженую голову и бороду. В избушке был готов суп с поджаркой сала и черемши. Мылась Маша долго. Вернулась помолодевшая пуще прежнего, с раскрасневшимся лицом, с расчёсанными надвое мокрыми волосами, в выстиранной майке и не вполне просохших джинсах.

— А вот это зря! — Кивнул я на них и подал свои запасные чистые штаны из комплекта термобелья, подаренного Санькой-генералом, при этом гадал, сколько же ей лет. Там, на горе, можно было дать все восемьдесят, если не девяносто. Теперь я сомневался в семидесяти.

Она переделалась в бане и снова вернулась. Мы молча поужинали. Я предоставил ей возможность мыть посуду, стелить постель, выбирать место для сна. Вечер был погожим, прохладным и безветренным. Накинув на плечи пуховку, я, как обычно, сел у двери, прислонившись спиной к стенке. Последний лучик солнца мельком пробежался по верхушкам деревьев, и сразу стали сгущаться сумерки. Тихо приоткрылась дверь, вышла Маша, села рядом, спросила:

— О чём думаешь?

— Смотрю закат, чтобы ни о чём не думать!

— Вроде телевизора с одним каналом и одной картинкой! Не скучно?

Я озадаченно пожал плечами.

— Канал, может быть, и один, а картины разные. Одинаковых закатов не бывает, да и меняется всё каждую минуту. У вас, в городе, вечерами лучше?

— Тоже телевизор! Каналов много. Сплошь реклама. Чтобы не думать, пощелкаешь-пощелкаешь, найдешь какой-нибудь детективчик, по ходу разгадываешь, кто убийца или вор.

— Выходит, мой канал интересней!

Она неуверенно пожалала плечами и впервые спросила о моей жизни:

— Давно один?

— Давно! Но не из принципа. Так получается!

Я вспомнил свою последнюю любовь — горожанку, труженицу, путешественницу, с которой хотел бы, но не мог жить в супружестве. Начал хвалить всех женщин, рассуждать, как хорошо с ними жить в лесу и как трудно найти спутницу для такой жизни. Маша слушала, смущенно отводя глаза, я почувствовал, что мои похвалы переходят в жалобы на одиночество и замолчал.

— Тогда почему один? — вкрадчиво спросила она.

— Где ж найти такую дуру, чтобы жила здесь? — Я раздражённо тряхнул прохоршей, распушившейся бородой, уже зная, что у неё есть муж и взрослый сын.

Утром она поднялась раньше меня, затопила печку, поставила на плиту мой старый закопчённый чайник. Я потянулся, протёр глаза. Дверь была раскрыта, за ней ещё только занимался весенний рассвет.

— Что так рано? — спросил, зевая.

— Надо возвращаться! — Она решительно блеснула глазами и стала подкиды-

вать дрова в топку. Отблески пламени румянили её щеки. — Две недели, как ушла. Сын с мужем, наверное, с ног сбились! А то и надежду потеряли!

— Если есть силы?! — Потянулся я. — А то, путь не близкий. За день не дойти даже если напрямки, через гору. Ну, да вольному — воля!

Мы позавтракали, быстро собрались. Я сунул в рюкзак пуховый спальник, палатку, летнее синтепоновое одеяло, котелок, газовую горелку, пару булок хлеба, сахар, остатки сала. Фальшфейер положил в карман штормовки. Мы стали подниматься в гору. Маша с каждым шагом всё заметней хромала, через четверть часа села, тяжело дыша и отдуваясь.

— Отдохни ещё денек! — посоветовал я, присаживаясь рядом.

С болью в лице она кивнула, и мы вернулись в избушку. Время было ранее, я оставил её одну и ушел за черемшой. Вернулся к вечеру. Маша приготовила ужин. Запах свежего супа я почувствовал за десяток шагов от зимовья. Заглянул в избушку и обомлел: на плите, рядом с походной кастрюлей сверкал мой старый чайник. Я нашёл его уже чёрным от копоти возле старого, развалившегося зимовья, пустовавшего лет тридцать, очистил изнутри и пользовался добрый десяток лет. Он был моим ровесником, если не старше, с толстыми алюминиевыми стенками, в нынешние времена таких не делают. Старый таёжник верно служил прежним хозяевам и мне, с достоинством поил и согревал. И вот, отдраенный до зеркального блеска, потерявший свой солидный вид, он выглядел смущённым и глупым, как матёрый мужик, вырядившийся в молодёжные тряпки и с пучком волос на темечке. Маша смотрела на меня и самодовольно улыбалась.

— Сюрприз! А на кастрюлю времени не хватило!

Я молчал, стараясь не показывать чувств. Она поняла это по-своему:

— Всё! Завтра хоть на четвереньках, но надо выбираться! — объявила, наливая мне суп в миску.

— Завтра, так завтра! — пробурчал я, мысленно прикидывая, сколько понадобится времени, чтобы чайник принял свой прежний, благородный вид.

Я опять хотел идти напрямик, через хребет, но заметил, что она всё еще прихрамывает, и повёл женщину пологим путём. Мы часто присаживались и отдыхали: мне спешить было некуда, а ей перегрузки тяжелы. Уже в сумерках вошли в сохнувший кедрач, где горожане постоянно били орех, и вскоре нашли просторный балаган.

— Лучше здесь переночевать, чем в палатке, — сбросил я рюкзак.

Она устало опустила на землю, вытянула натруженные ноги и стала растирать колени.

— Болят! — пожаловалась, жалостливо взглянув на меня.

— Надо было ещё денёк отлежаться, — проворчал я и стал готовить ночлег.

Напрела гречневая каша, тихие сумерки перешли в ночь, высыпали на небе первые звёзды. Мы лёжа поужинали, я ополоснул котелок и поставил его на горелку в балагане, чтобы заварить травяной напиток.

— Ты уж прости! Суетишься один, а я лежу. Правда! Ноги очень болят.

— Отдыхай! Даст Бог, завтра доползём до электрички.

Я достал и включил сотовый телефон.

— Надо же, есть связь! Хочешь позвонить своим?

Она схватила было телефон. Включённый экран высветил её напряжённое лицо, морщинки, собравшиеся на лбу. Но Маша вдруг отстранилась, вздохнула, и вернула мобильник.

— Ни к чему! Сделаю сюрприз. Вернусь через восемнадцать дней, как с того света. Да и номера на память не помню.

Сипела горелка, едва освещая балаган синей короной пламени. Её лица не было видно, но я чувствовал частые взгляды, будто она хотела спросить о чём-то и не решалась. Прополоскав рот остывающим напитком, я застелил землю палаткой, подал ей пуховик и завернулся в одеяло.

После полудня мы вышли на станцию электрички возле дачного посёлка, посмотрели расписание. Через пару часов она могла уехать в свой посёлок. Весь путь к станции наше молчание было каким-то тягостно напряженным. И сидеть рядом на станционной лавке, смущая друг друга чем-то недоговорённым, было неловко. Я высмотрел магазин дачного посёлка, решил сходить, прикупить продуктов, если, конечно, примут плату по карточке. Наличных денег у меня не было. В магазине выбор оказался не богат, но я смог расплатиться по телефону. Купил молока, мятных пряников, сосисок и газовых баллонов для себя, упаковку вафель и бутылку фруктовой воды для неё. Вернулся на крытую станционную посадочную площадку. Она одиноко сидела на лавочке. Народу не было. Я присел рядом, выложил ей на колени вафли и воду.

— Ну, прощай, что ли?! Счастливо добраться! А я пойду. Заночую в балагане, завтра буду дома.

— И отблагодарить-то тебя нечем! — стала торопливо оправдываться она с растерянными мечущимися глазами. — По-женски? Так кого там, одни кости! — Ткнулась лбом мне в плечо.

— Помянешь добрым словом и ладно! — буркнул я в бороду. — Бывай здорова, не блуждай больше!

Я вернулся в избушку тем же путём и как-то по-новому увидел своё таёжное жильё; во всём чувствовалось присутствие женщины, неосознанно пытавшейся создать кое-какой уют: поникший жарок в кружке, стол, прикрытый полотенцем. Я сварил остатки сосисок с привкусом опилок, поужинал и занялся обыденными делами. По договору с генералом надо было сходить на речку за хребтом, в её среднее течение, куда со дня на день потянутся мешочники. Придут, как правило, ещё пьяные, кое-как переночуют у костров, потом, с наполненными мешками, бросят тлеющие костры, поволокуются к пригородной мотане. Чаше всего с таких мест начинаются пожары.

Время для сбора черемши в этих местах ещё не подошло, но надо было найти точку сотовой связи, на что может уйти не один день. Я нагрел воды, слегка помылся, выстирал рубаху, в которой вернулся, и стал собираться: сложил в рюкзак спальный мешок, палатку, газовую горелку с запасом газа, продукты. Приподнял рюкзак — тяжеловат. Стал думать, что можно оставить, чтобы не надорвать поясницу и вместо службы не провалиться где-нибудь в палатке, как уже бывало.

Пришлось слегка разгрузиться. Я оставил продуктов и газа на три дня, решив на этот раз всего лишь найти места для связи и базовой стоянки. Утром подпер дверь жердью и ушел за хребет в долину другой реки. День туда, день — обратно, остальное время ушло на поиски места под базовый лагерь и связь. Я отыскал полуберлогу под вывернутым дерном и корнями упавшего кедра, при помощи палатки за час сделал из неё жильё, от которого не так далеко до плантаций густо поднимавшейся черемши. Следы первых добытчиков уже были. Со дня на день могли нахлынуть сборщики.

Трудней было найти место связи. Я облазил ближайшие вершины, но к удивлению своему нашел волну в низине, в полутора часах ходьбы от балагана. Связался с генералом, доложил, что занял позицию, чтобы отработать продукты, объяснил, где моя стоянка. Похохатывая в трубу, Санька остался доволен нашим сговором. Ни хлеба, ни сухарей уже не было. Я жиденько заварил последний пакет «доширака», выхлебал его с черемшой и сосновыми побегами. Предстояло почти на одной воде добираться до зимовья, чтобы принести новый припас.

К вечеру я был дома. Берёзовый бочонок, перенесённый из бани в избу, где ему больше нравилось, с укоризной тарашил на меня деревянный глаз. Но вода в нём была свежей и прохладной. Я с благодарностью напился, сунул за щеку сухарь, сбросил энцефалитку, внимательно осмотрелся от клещей и упал на нары. В прохладе зимовья попискивали комары. За какие-то четыре дня многое переменилось вокруг избушки: стало больше зелени, берёзы покрылись душистыми листочками, их запах дурманно кружил голову. Надо было готовить ужин, но не хотелось даже шевелиться. Приятная усталость сковала тело, и я уснул с сухарём за щекой, с кружкой подслащенной воды на столике. Проснулся в темноте от чувства сильного голода, зажёл лампу, растопил печку и стал готовить то ли ужин, то ли завтрак.

На другой день была баня, стирка, выпечка хлеба. Следующим утром так не хотелось уходить, что я провалялся до полного восхода солнца, сожалея, что вязался не в своё дело. Хотя... Пожар — это не только бедствие для долины соседней реки. Он — непредсказуем и может переметнуться ко мне. Я плотно позавтракал постнятиной на постном масле, оставил в избушке одну булку хлеба, остальные сложил в рюкзак, дополнил другими продуктами и с пятнадцатью килограммами за спиной отправился сторожить соседний лес.

Пришёл я на свой базовый лагерь вовремя: снизу поднималось ленивое веретено дымка. Я бросил рюкзак в балаган и с топором в руке побежал на дым. Ветра не было, горела сухая трава. Судя по площади, черемшатники упустили огонь от костра. Они потушили начинавшийся пожар, но где-то осталась тлевшая головёшка, она долго шаяла и пустила пламя, когда люди ушли со спокойной совестью. Я подоспел вовремя. Срубил густую ветвь берёзы, сбил и затоптал огонь, подобрал пэт из-под пива, залил головёшки. В темени наступившей ночи всякая искра была хорошо видна. Просидев на гари до рассвета, я поплёлся к балагану и проспал до полудня.

Следующий день прошёл спокойно. На другой, к вечеру, снизу послышались голоса. Я спустился, скрываясь за деревьями, и насчитал с десятков мешочников, располагавшихся на ночлег. Дымили костры. Утром пришельцы принялись резать черемшу, а я отправился к месту связи. Генерал был зол, тайга горела во многих местах, все инспекторы задействованы на тушении.

— Ты уж проследи сам, послать некого!

С неделю и дольше я тушил, заливал, проверял кострища и стоянки. Через пару дней выходил на место связи, докладывал, наконец генерал отпустил меня, сказав, что в падь идут два инспектора. Во время связи с ним я высмотрел в телефоне дату и ахнул: был канун ночи летнего солнцестояния, которое придётся встречать здесь невытым и полуголодным.

Я вернулся к балагану на закате, наспех перекусил, расстелил спальный мешок на открытом месте под небом, разделся, отмахиваясь от комаров и передергивая плечами, влез в ручей. Воды в нем было по колено. Я сел, вода обожгла стужей.

Встал в рост мокрый, торопливо намылился, снова сел, смыл пену, выбрался и отбился своей зловонной одеждой с едкими запахами пожарища и затхлого пота. Комары страстно облепили влажное тело. Отмахиваясь от них, я торопливо влез в спальный мешок, натянул на голову шляпу с защитной сеткой, злорадно передавал забравшийся внутрь гнус и облегчённо вытянулся, глядя на звёзды. Комары в бессильной злобе с недоумением мельтешили по сетке с наружной стороны, оттого казалось, что звёзды весело перемигиваются. «Чего просить у них в эту чудную ночь?» — мелькнула мысль. Желаний было много, но надо выбрать одно, самое заветное. На миг я усомнился: прибавления сил стареющему телу или душе поредевшего духа, которого уже почти не осталось. «Конечно духа, — подумал сонно, с трудом разлепляя ресницы. — Всё остальное пустяки». — «прииди, вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны,..» — мысленно успел прочесть и улетел.

Проснулся от духоты под сеткой, на которую падало солнце, тоскливо и безнадежно обсиживали комары. Утро остудило их вчерашнее рвение. Я сорвал сетку с лица, вдохнул утренней свежести. Рассвет был проспан, но тело отдохнуло. Земля приблизилась к Солнцу, насколько это возможно, и стала отдаляться на зиму, а лето, по космической инерции, прибавляло жары. Я расстегнул и скинул спальный мешок, напился из ручья, умылся и стал готовить завтрак, поделив остатки продуктов надвое: съел остатки риса со сладким чаем, на день пути оставил горстку сухарей и «доширак». Можно было дожидаться инспекторов и перехватить у них продуктов, но ждать и встречаться с незнакомыми людьми очень уж не хотелось.

Вернулся я к избушке в сумерках, бросил на нары рюкзак, первым делом съел чёрствый оставленный хлеб с сахаром, разжёг горелку и стал варить кашу. Зимовьё накрыла поздняя редкая темень летней ночи. Надо было помыться хотя бы в речке, лечь под небом, заново пережить-переждать короткую ночь, но сил не было. Я наелся и отвалился на нары, как насосавшийся клещ, решив все дела отложить на завтра. Проснулся на рассвете и первым делом вывалился возле избушки в утренней росе. Затем зажёг горелку и стал готовить завтрак.

Передохнув, отстиравшись, наготовил припас хлеба, наложил заплатки на прожженные дырки в одежде и стал планировать свою обычную летнюю жизнь. Надо было сходить в кедрач, перед которым виноват, особенно перед одним погубленным мной кедром. Всякий раз, проходя мимо него, я обнимал ствол и просил прощения. И вот, снова стоял и не верил глазам: кедр зеленел, он простил меня. Я обхватил его шершавый смолистый ствол руками, залипая бородой к смолю, целовал кору и слёзным голосом обещал никогда его не колотить, собирать только шишку-паданку. И возвращался домой счастливый, хотя год предполагался явно неурожайный на орех. Завязей шишек на кедрах не было.

Кончался июнь. Речка полностью освободилась ото льда, на нерест шёл хариус. Рыбаком я себя считал плохоньким, страсти и азарта к рыбалке не имел, но рыба давала хорошую подкормку к постному рациону. Я старался не пропускать погожие деньки, ходил по речке с удочкой и ружьём, потому что продолжались медвежьи свадьбы. Ружьё цеплялось за береговой кустарник, мешало рыбалке. Бывало, я возвращался ни с чем, но через день-два ел уху и жареную рыбу.

Встреча с медведем произошла не на речке, а возле избушки. В сумерках я услышал, как упало сухое дерево, затем другое, хрустнул валежник, затем поблизости раздался рёв. Я крадучись вышел с ружьём и высмотрел молодого медведя, занявшего территорию убитого мной старика. Он тоже заметил меня, снова рывкнул с утрозой.



— Ах ты, шегол?! На кого орёшь? — возмутился я, вернулся в избушку, оставив дверь открытой, бросил на нары ружье, достал из-под нар бензопилу, дёрнул стартер. Пила завелась с одного оборота, заревела. Молодой медведь, может быть даже прошлогодний пестун, ломанулся сквозь кустарник и пропал из виду. — Ишь, нашёлся хозяин! — продолжал ворчать я, поселившийся здесь еще при его бабушке. Но наша первая встреча и знакомство состоялись. Если этого молодого не выживет какой-нибудь старик, несколько лет нового хозяина моей территории можно не опасаться. Если, конечно, сильно не оголодает. Моё тело для него вроде неприкосновенного запаса, который находится в известном месте.

Я стал ходить на рыбалку без ружья, копал сарану во время её недолгого цветения и как зверь откармливался таёжными дарами. В конце июля, возвращаясь с удачной рыбалки безоружным, как всегда осторожно подошёл к жилью и прежде почувствовал, чем заметил следы перемен. Кто-то побывал здесь в моё отсутствие. Скрываясь за деревьями, я дал полукруг, вынул из дупла ружьё, приблизился. Жердочка, которой была подперта дверь, не валялась на земле, но была приставлена к стенке, за ней — сапоги, положенные на просушку и раскрытый рюкзак. В избе был гость. Я спрятал ружьё на прежнее место, подобрал удочку и рыбу, не скрываясь, подошёл к двери и открыл. На моих нарах, под незнакомым мне спальником-одеялом кто-то лежал, судя по оставленным снаружи сапогам, мальчишка или женщина.

— У меня гости?! — спросил, перешагнув порог, и опустил возле печки пакет с рыбой.

Из-под одеяла показалась голова с хвостиком волос, стянутых на затылке, затем ко мне обернулось круглое моложавое лицо с полными губами, сощуренными глазами, и я не сразу узнал Машу.

— Вот так сюрприз! — Присел возле печки. — Как нашла?

— А запомнила! — Весело зевнула она, села, скинув спальник, и показала зажатый в кулачке «джипиэс». — Решила ещё раз заблудиться, но с техникой. Поверишь ли, после прошлой голодовки избавилась от всех болезней, только колени до сих пор ноют.

— Нетрадиционная медицина?! — усмехнулся я. — Ну, что? Надо греть воду для помывки?

— Не помешало бы! Пришла вот, вернуть долги. Как без бани?

— Какие долги? — не понял я.

— Отблагодарить за спасение, — она взглянула на меня шаловливо, с вызовом и весёлой злостью.

Это была уже не измождённая и пугливая старуха, которую я помнил, но молодая, самоуверенная горожанка. Я смутился, поскоблил бороду, показывая, что сам не против того, чтобы помыться. Спросил:

— Ну, и как твой сюрприз мужу и сыну?

Её глаза холодно блеснули, она возмущенно хмыкнула, дёрнула подбородком, тряхнула плечами.

— Захожу, сидят, пьют. По лицам вижу — не первый день. Уставились на меня, лупают глазами. «Что? — спрашиваю. — Похоронили? Даже не ищите?»

Я тихо рассмеялся, представив лица домочадцев, и показал пакет с рыбой.

— С ухой меньше возни, чем с жаркой. Свари на газовой горелке. Соль на столе, солёный дикий лук в банке. А я затоплю баню и принесу воды.

Были уха и баня, ночь страстей под одним одеялом. «Ах, женщины?!» — думал я утром, глядя на неё, опять новую, уже не такую как вчера: притихшую,

задумчивую, ласковую. Прежде она волновалась, блефовала, выдавая себя за самоуверенную мстительницу мужу.

— И как же ты один-то тут? — вздохнула жалостливо. — Еще не совсем старь, нормальный мужик.

Мы сидели на крыльце, наблюдали, как гаснет день, и густеют сумерки.

— Всё так же! — ответил я — всё тот же канал, а картины разные... Иначе как-то не получается.

Мы прожили счастливый день в дрёме и лени. Вечером, при свете керосинки Маша стала беспокоиться, морщила лоб, о чем-то напряжённо думала.

— Если не можешь жить в городе, почему не поселишься в какой-нибудь пригородной деревне или в дачном посёлке?

— Пробовал, не получилось...

Она опять о чём-то долго думала, глядя в низкий потолок, затем то ли спросила, то ли объявила:

— Женщине нужен хотя бы тёплый туалет.

— Если бы только это, — вздохнул я, зная, что для горожан непосильно то, что в обычай для человека, живущего на земле: мысли о смысле своей жизни. В городе не до них. Там утешаются тем, что живут как все и думают о насущном: кредиты, ипотеки, не опоздать, успеть, не быть обманутым, обсчитанным, обворованным. — Туалет сделал бы. Туалет — пустяк! Небольшой утепленный балаган, газовая горелка или паяльная лампа. Через пять минут — жара, хоть раздевайся.

Я сходил за грибами, сделал жарёху с папоротником. Мы прожили ещё одну счастливую ночь, утром она поднялась первой, стала готовить завтрак, я почувствовал в её настроении знакомое непоседливое раздражение, с грустью подумал: «Хорошего помаленьку!» — и предложил:

— Что? Хватит бездельничать. Идём за голубицей. Посмотрим, вдруг уже поспела. — И добавил с усмешкой: — Известная Машкина хитрость: принеси-ка, Мишенька, ягод, а я напеку пирожков для деда с бабушкой...

Маша повеселела и рассмеялась:

— Не сидеть же в избе всю неделю! Надо что-то делать?!

Мы не спеша собрались, и я повёл гостью на заболоченное место в пойме речки. Голубицы уродилось много. Она была недозревшей, вязала рот, но не лопалась в пальцах при сборе, и Маша решила, что ягода дойдет, пока она её вынесет. Понятно, что собранная голубица не сможет долго лежать в ведре, значит, утром придётся идти к людям. Вдвоём мы быстро набрали ведро, и вернулись в избушку. Маша весь вечер перебирала ягоды, очищая их от листочков и травы, я смотрел на неё и не решался спросить про возраст. С каждым днём она казалась моложе, и в сумерках, проводив закат, объявила, что ей надо возвращаться. Это меня ничуть не удивило.

— Ну, что ж, надо так надо! Медвежьей хитростью тебя не удержишь. Хотя, надеялся, что поживешь подольше...

— Дольше никак нельзя! Правда! — Она взглянула виновато и жалостливо. — Наверное, дома опять переполошились, — и тихо рассмеялась. — Или думают: понравилось бабе блудить!

Следующим утром мы молча собрались. На этот раз я не стал брать палатку в надежде на балаган, взял только перкалевый тент. Ушли мы нахоженным путём и опять устроились на ночлег в знакомом балагане. Маша позвонила домой, объявила, что жива. Фыркнула, выключив телефон:

— Даже не беспокоились!

Мы снова переночевали, на этот раз под одним спальником-одеялом. Спешить было некуда. После полудня я вывел Машу на остановку электрички. Пришли мы рано, хотя не торопились. Я сходил в магазин, удачно прикупил колбасы, сала, сгущенного молока, взял коробку конфет, положил ей на колени. Маша с досадливой улыбкой покачала головой:

— Из тайги с конфетами?! Зачем нарываться на скандал?

— Съешь! А то у меня слаще сахара ничего не было.

Она раскрыла коробку, взяла горсть, остальное сунула в мой рюкзак.

— Вечером попьешь с чаем... Иди уже! А то не успеешь засветло в наш балаган. — Вскинула на меня страдальческий взгляд:

— Я распутная старуха? Да?

— Какая же ты старуха? — я приобнял её, ткнувшись бородой в щеку. — Красивая, влекущая женщина. Спасибо, что согрела. Дай Бог счастья!

О будущем мы не говорили, планов на встречи не строили. На глазах Маши выступили слёзы:

— И тебе спасибо! — заговорила она сбивчиво, торопливо: — Я почувствовала себя женщиной. Желанной. Думала, всё прошло, отбабилась, оказывается, нет. Но это как отпуск, как сумасшествие. На мужа рассердилась: спасу нет. А с тобой в тайге побыла, — она испуганно блеснула глазами, помолчала, сморщив лоб и подбирая слово, — побыла и поняла, что семья много значит. Вокруг так много одиноких, а у меня муж, сын скоро женится, внуки будут. Даст Бог!

— Я понимаю! — Крепче прижал её к себе и отпустил. — Всё было очень хорошо, по крайней мере, для меня. Будь счастлива, а мне, и правда, надо идти, — я встал, накинул на плечи рюкзак, не оборачиваясь, пошёл к лесу. Не было на душе печали, была тихая, немного грустная и всё же радость пережитого, будто погрелся у чужого костра.

Я шагал знакомым путём к балагану, но издали услышал балаболивший приёмник. Тупой ударник перемежался бодрой и торопливой речью двух голосов, хихиканьем, чмоканьем. Издали казалось, что два пьяных придурка вырывают друг у друга микрофон. Я пошёл на звук и увидел мужчину, обиравшего куст жимолости. Как кобура через плечо, на нём висел радиоприёмник. Я подошёл сзади, похлопал по плечу. Мужик с воплем упал на спину, разинул рот, как рыба на суше. Ведро опрокинулось на траву, ягода частью рассыпалась. Я присел и выключил транзистор.

— Так вот медведь подойдет, и не поймёшь, пока не начнёт жевать!

Мужик приподнялся на локтях и разразился матерной бранью. Вразумлять его не было смысла. Я удивлённо хохотнул и двинулся своим путём.

Вскоре у балагана послышалось приближавшееся лопотание транзистора. Ночевать рядом с незнакомцем не хотелось, но я бросил в котелок с кипящей водой две порции сосисок в расчёте на гостя. Подошёл тот самый мужик с полным ведром ягоды. Помётывая на меня злобные колючие взгляды, стал молча раздувать костер.

— Я на тебя сготовил! Присаживайся! — Кивнул я на свой котелок.

Мужик неприязненно взглянул на меня и не ответил.

От звуков транзистора в теле начала напрягаться неприятная дрожь. Я молча съел двойной ужин, собрал рюкзак и, не проронив ни слова, двинулся дальше. Шёл пока позволяли сумерки и слышалось радио, затем, высвечивая себе путь

фонариком, нашел пологое место под деревом, расстелил коврик, бросил на него спальный мешок. «И какого ляда вздумал поучать радиоманьяка? — укорил себя. — Однако, повезло, что встретился с ним только на обратном пути». Память о ночи с Машей, в балагане, приятно грела душу.

По черному небу носились тучи, вспыхивали и гасли редкие звёзды. Притихли комары, по лесу прокатывались порывы ветра с запахом дождя и вспыхивали беззвучные зарницы. Палатки у меня не было. Я натянул тент, разулся и улёгся в верхней одежде. Среди ночи по тенту забарабанил дождь. То усиливаясь, то ослабевая, он моросил до рассвета, и не было надежды, что вскоре прекратится.

Летний спальник быстро отсыревал, попискивали сонные комары, я ворочался с боку на бок и не спешил с завтраком. «А ведь мог бы начаться и раньше, задержать у меня женщину на пару дней» — с сожалением думал, поглядывая на низкое серое небо, лежавшее едва ли не на верхушках деревьев. Выставил котелок под струю, скатывавшуюся с тента, полулёжа сварил на горелке сосиски. А дождь всё моросил и моросил. К полудню стало ясно, что придётся переждать его здесь. Идти под дождём, а потом мокрому устраивать ночлег не хотелось.

Отлежав бока, я переждал ещё одну ночь. Дождь стих, на кустарнике и деревьях лежал туман. На ветвях и траве висели крупные капли. Я быстро приготовил завтрак, собрал рюкзак, накрылся мокрым перкалем и пошел знакомым путём восвояси, сбивая палкой воду с травы и кустарника. Через четверть часа в ботинках захлюпало. В избушку я вернулся насквозь промокшим, но печка была заряжена, сухой сменной одежды хватало. «Теперь хоть залейся!» — мстительно пробормотал, выглянув за дверь. В полутьме дым моей печки стелился по мокрой траве, цеплялся за кустарник.

Наступил сухой месяц жнивень — август. Я узнал его по редким желтым листочкам в кронах берез и осин, по крепким как клещи мухам, путавшимся в бороде. Вскоре зачастили холодные утренники. Гуще покатился желтый лист по горной речке. С ним стал скатываться в низовья хариус, кормивший меня все лето. В моём лесу урожай ореха был мал, я высматривал дальние кедрачи, сушил чернику, голубицу и грибы, готовил бочонок для брусники, занимался главным летним делом — готовился к зиме. Однажды вечером, возвращаясь в избушку с ягодой, чтобы сократить путь, перевалил через невысокий отрог. На его седловине было хорошо слышно, что делается внизу. Я выслушивал медведя, а услышал голоса людей, что меня ничуть не обрадовало. Осторожно спустился к речке, обошел избушку стороной, сел за деревьями так, что она была мне хорошо видна, стал наблюдать окрестности через бинокль.

Вскоре к зимовью уверенно подошли двое. Судя по виду, молодые люди с рюкзаками и дробовиком, одним на двоих. Они сбросили рюкзаки, приставили ружьё к стене, заглянули в избушку, но не стали обустраиваться в ней, сели у входа. Это мне понравилось. На туристов они не походили, скорей всего пришли за ягодой. Далековато, но бывает. Вдруг и заблудились. Молодых туристов я не любил, хотя сам в юности был не лучше нынешних. Бывало, возвращаюсь в свой балаган, а мне заявляют, что все места заняты. Гости, похоже, были культурней тех, давно повзрослевших путешественников. В сапогах, камуфляжах, с головами, повязанными бабьими платками, они присели у входа и закурили. Один по-юношески стройный, сухощавый, другой коренастый, может быть даже толстоватый для таёжных переходов. Я понаблюдал за ними несколько минут и вышел к избушке.

Оба усталились на меня вопрошающими взглядами. Грузноватый, с самоуверенным круглым лицом, на котором поблескивали капли пота, глядел насмешливо и снисходительно, в лице сухощавого было что-то знакомое, будто когда-то мы встречались. Он первым смутился, не выдержав затянувшегося молчания, торопливо сунул мне руку и представился именем, которое я вскоре забыл.

— Мать сказала, вы её спасли, умиравшую, и вывели.

— Маша, что ли? — я понял, отчего показалось знакомым лицо парня. — Как нашли-то меня?

— Мать рассказала, — буркнул её сын, отмахиваясь от гнуса, — и дала вот это! — показал «джиписэску».

Второй, начальственно переминаясь, тоже поздоровался.

— Ну, и что вам в этих местах? — слегка смутился я. Мелькнула настороженная мысль, что мать, скандала с отцом, сказала лишнее, и юнцы пришли разбираться. Я бросил настороженный взгляд на их ружьё и сел так, что оно оказалось за моей спиной.

— Ягоды, шишки! Мать сказала, много всего. Ну, и поблагодарить!

— Ягода есть, ореха совсем мало, неурожайный год.

— Выносить далеко! — натянутым баском заметил толстый, огляделся по сторонам, начал по-хозяйски вспоминать и оценивать места, через которые шли.

— Ну, что ж, почаёвничаем, что ли? Только троим в моей избёнке тесновато будет, да и комарья в ней больше, чем здесь, на ветерке.

— Брусника есть? — снова спросил толстячок, видимо с детства представлявший себя начальником, но судя поговору, образования для этого не получивший.

— Есть! Правда, ранняя, однобокая.

— Ничего! Пока донесём, созреет. Путь не близкий, третий день добираемся.

— Значит у вас разведывательный поход? — Я наполнил водой свой всё еще вызывающе блестящий чайник, запалил газовую горелку и дымокур, чтобы почистить зимовьё от гнуса.

Парни ещё раз заглянули в избу, но остались снаружи, стали распаковывать рюкзаки, выкладывая яркие пакеты, по виду и запаху что-то из того, что я когда-то пробовал, но никогда не ел.

— Мяса, рыбы нет, — предупредил. — Хлеб и гречневая каша.

— Кашу не будем! — Гости замотали повязанными головами, концы платков заелозили по спинам.

Говорить с ними было не о чем и неинтересно. Мы поужинали, каждый своим припасом. Они курили, а я, сидя на траве, морщился от запаха табака, мелкими глотками попивал травяной чай и прислушивался к их разговорам. Ребята походили на безвредных ягодников, хотя радости от встречи с ними не было, и ничего хорошего не предвиделось. Уже то, что они вытропили путь, ставило под угрозу моё проживание в этих местах.

Загустели августовские сумерки, вызвездило чёрное небо.

— Троим в избе с удобством не разместиться. Разве под нарами, — кивнул я на распахнутую дверь зимовья.

— Мы поставим палатку!

— Так лучше! — зевнул я, ополоснул лицо и заперся в избушке.

Гости еще долго переговаривались, курили, неприятные, непривычные звуки бормотания, запахи мешали моему сну. Ночь прошла тяжело, наступило безрадостное утро: ни помолиться, ни поклониться, ни размяться: всё не как обычно

и привычно. Я с раздражением подумал об этом и мысленно съязвил: «Однако, женщина тебе не мешала и даже устроила праздник!»

Встали ребята поздно, с аппетитом умяли мою булку хлеба. Я указал им, где брусничник, они ушли с пластмассовыми вёдрами и с ружьём. Вечером с той стороны, куда я их отправил, донесся глухой раскатистый выстрел дробовика. Я вынул из дула ружьё, крадучись пошёл посмотреть, почему они стреляли, не случилось ли чего. Не прошел и десяти минут, услышал их шаги и голоса. Не показываясь им на глаза, вернулся к избушке, спрятал ружьё.

Они вышли с радостными лицами. Машин сын с ружейным ремнем на шее, нёс два ведра ягоды. Толстячок, обливаясь потом и раскачиваясь всем телом, деловито тащил на спине убитую рысь. Гости подошли к избушке, один поставил у стены полупустые ведра, другой небрежно сбросил с плеч тушу зверя. Скорей всего это была та самая киска, которая пережидала холода на моей крыше, и я с сожалением повинился в том, что есть в её гибели моя вина: не приучил не верить людям.

— Ну, и зачем убили? — спросил, сдерживая рвавшийся гнев. — Летняя шкура никуда не годится.

— В машине на сиденье рысь. Круто! Поможешь снять шкуру? — скорей приказал, чем спросил Толстяк.

— Сами убили, сами шкуруйте! Я этим не занимаюсь и не хочу пачкаться. А попадёте инспекторам — заплатите немалый штраф. — Я подхватил топор и ушёл, якобы собрать хворост на растопку. Страшная, безрассудная мысль пронзила мозг электрическим зарядом: напоить спиртом, убить и спрятать... На неё тут же ополчился старый редактор: «Придут поисковики». «Ну и что? Обведу вокруг пальца!» — ответил ему в злом запале. Но представил лицо Маши, потерявшей единственного сына, и смирился. Для гостей не хотелось ни баню топить, ни печь хлеб. Было одно желание, поскорей их выпроводить.

Я ломал и рубил хворост, вымещая на нём негодование и бессилие что-либо изменить. А молодые возле палатки весело переговаривались и шкурили зверя. Запах свежей крови, казалось, витал даже в избушке. Начальник, обернувшись ко мне, ухмыльнулся с важностью и самодовольством:

— Лежала на толстом сучке, думала, не увидим. Хотела броситься сверху. А я ей картечью по башке...

— Реально богатые места! — поддержал дружка сын Маши. — Ягоды много. Только выносить не кайф. Ты продукты зимой наверное по речке завозишь?! Можно ведь ягоды, ореха осенью набрать, а зимой вывезти?

— Только на себе, по разливам и камням! — ответил я, сдерживая дрожь голоса. — Транспорт сюда не пройдет.

— Как-то же ты забрасываешь припас?! —

— Так и забрасываю! На себе!

Они возились с тушей до полуночи при свете костра. Я прислушивался к их разговорам о том, что надо прийти зимой для охоты и проверить путь по речке. Проклиная свою неосмотрительность, что привёл женщину, а не оказал ей помощь на месте, я перебрал в голове многие варианты, как исправить положение, и выходило одно: сжечь зимовье и уйти на другое место. От мысли, сколько работ на это потребуется, становилось дурно. Да и по силам ли в золотом-то возрасте?

Утро выдалось сырым и туманным. Дотлевал костёр, молодые спали в палатке. Скалившая клыки туша была отброшена за куст, шкура пушистым комом валя-

лась на земле и сохла. Я развернул её. Не отomezдрённая, со множеством порезов, она никуда не годилась, кроме как похвастать добычей таким же городским чайником, как эти двое. С болью вспомнилось, а много ли лучше был сам в их годы, не получив таёжного образования в детстве, до всего доходя через грехи?

Разогрев чай на газовой горелке, я позавтракал, наточил нож, отнёс тушу за баню, срезал с костей мясо, затем в избушке перекрутил его на мясорубке, растопил печку и стал жарить котлеты.

Молодые спали почти до полудня. Поднялись, заводили носами:

— Мясом пахнет? Откуда?

— Само припрыгало! — ответил я с затаённым злорадством.

Хлеб съели, уж очень он понравился гостям. Я вынес из зимовья сковороду с котлетами, поставил на пень и насыпал сухарей в миску. Попробовал: котлеты из свежего мяса с солёной черемшой, поджаренные на подсолнечном масле, удались.

— Налетай! — пригласил к столу.

Они и налетели. Сковорода вмиг опустела. Похрустев сухарями, Начальник сыто икнул и спросил с удивлённым лицом:

— Так и не понял, что за мясо. Похоже на гусятину или индюшатину.

— Рысятина! — сдержанно пояснил я, попивая горячий настой чаги.

— Да ну?! — молодые с удивлением и недоверием уставились на меня. — Это же кошка?!

— Понятно, не кириешка, — желчно усмехнулся я. — В Европе считалась деликатесом, пока не перебили.

— Там и лягушки — деликатес! — Глаза Машиного сына недоверчиво блеснули, лицо побледнело.

— За баней кости. Посмотри!

Он резко встал. Вскоре послышался вопль исторгаемой пищи. Начальник с покривившимся лицом пытался сохранить невозмутимость.

— Прикололся дед! — пробормотал, перебарывая обильное слюноотечение.

— Да что вы, ребятки? Нормальное, свежее мясо... К тому же закон тайги: убил — съешь! Иначе здесь никак нельзя. Мне и волчатину приходилось есть. А что? Собак едят, а тут — зверь?!

День прошёл в натянутых шутках. К ужину я нажарил ещё одну сковороду котлет, но молодые есть отказались. Они подкрепились «дошираком», сушёным картофельным пюре с непотребным запахом и утром ушли, сославшись, что брусники наберут ближе к станции. Я собрал окурки, прикопал кости рыси, долго сидел на пне, с печалью оглядывая избушку, баню, лабаз, вспоминал, сколько трудов было вложено, чтобы обустроиться. И вот... Одна неосторожность, одна маленькая слабость, неосмотрительность, и всё надо убирать, чтобы не привадить к этим местам тупых рвачей. А они теперь будут появляться всё чаще, да с друзьями, и через несколько лет превратят мой лес в пустыню. А начинать переезд-переход надо в самое прекрасное таёжное время.

Это был не шлепок таёжной Силы, а откровенный пинок под зад, да такой, что мог быть переломлен хребет. А выбирать было не из чего: либо всё ломать, бросать и уходить в город, либо... Укромное место я знал. Не хотелось даже думать, сколько сил и времени понадобится для того, чтобы перенести туда остатки продуктов и вещи. Но зимовье, лабаз и баню в любом случае придётся уничтожить. На другой день я загрузил в рюкзак бензопилу, лопату без ручки, топор, с тяжёлым рюкзаком и ружьём на шее отправился к камню, под которым ночевал в апреле.

Неделя ушла, чтобы сделать кое-какое убежище, пригодное для зимовки. По утрам уже прихватывало траву инеем, и еще робко начинали реветь изюбри. Я вернулся за продуктами, напарился в бане, напёк хлеба и снова ушёл, забрав печку, трубу и бочонок для воды, удивлённо пяливший на меня свой единственный глаз. Груз был не столько тяжёлым, сколько неудобным, цеплялся за ветки и кустарник, грохотал, попугивая зверьё, будто всхлипывал: куда ты меня? Неподальку от моего нового стана на меня выскочил рогач-изюбрь с разъярёнными глазами. Удивлённо рассмотрел ползущее в гору чудо-юдо, не опознал в нём соперника и скачками скрылся среди деревьев в поисках такого же рогача. Тайга жила своей обыденной и вечной жизнью, готовясь к очередной зиме.

Уже по снегу нартами я перевез на новое место банный котёл, вернулся с бензопилой и топором, переночевал в бане. Утром подпилил стояки лабаза, скинул крышу с избушки, распилит стены на чурки и на квадрате чёрной земли под избушкой сжёг всё, что могло пригодиться людям для стоянки. Затем раскидал каменку, попилит на дрова баню. Светлый остаток дня просидел на пне, с тоской оглядывая пережившие, осиротевшие и, как показалось мне, обиженные на меня места. По здравому смыслу лес мог только радоваться, что я покидаю его. Но отчего-то отчуждённо насупились знакомые деревья. Я обошёл их, обнимая, выпрашивая прощение за дым и шум, за пожжённые корни под кострищем, которое затянется не скоро. При этом пытался оправдываться, что вырубил пожароопасный сухостой в округе, выломал сухие ветки с лишайником. Снова сел на пень, озадаченно соображая, какая была польза от моего проживания здесь. Неужели и я был обычным паразитом, как лишайник на ветвях деревьев?

— Что делать? — пробормотал, винаясь. — Как мог, старался не вредить вам. Ухожу и делаю всё возможное, чтобы другие здесь не задерживались. Так будет лучше для всех! — Мысленно представил себе через несколько лет это место, перемоловшее следы человека. Гас костёр. Я отодвинул угли, настелил на горячую землю осиновой коры и остатки веников, переночевал с обилием дров. Утром, уложив вещи в нарты, поклонился на все четыре стороны и с душевной болью, как к другой жене, отправился к полупещере. При этом ещё долго чувствовал спиной укоризненный взгляд обжитого мной леса, хотя понимал, что сделал ему вреда больше, чем пользы.

День был тёплый. Сырой снег налипал на полозья нарт, они цеплялись за камни, кусты и валежник. Я тупо дёргал постромки, шагал, стараясь не думать о дальнейшей жизни. Пару месяцев можно было протянуть и на тех продуктах, что есть. «До конца года надо ещё дожить» — рассуждал, но при этом высматривал места, пригодные для приземления вертолёта. Кое-какая надежда на Сашку-генерала все-таки была.

Моё новое жильё встретило меня настороженно, как новая малознакомая жена, сманившая мужчину от прежней. Чужих следов на подходе к ней не было. Соседствующая медведица, которой я побаивался, не навевдалась. Наверное, она нагуляла жир и залегла в своей уютной избушке с подростком медвежонком и новым зачатком. Гора вещей под навесом была цела и слегка присыпана снегом. Всё это предстояло растащить и разложить по местам. Надо было построить хотя бы мыльню. Работы предстояло много, но особо спешить было некуда: зимние холода уже не пугали.

Я растопил печку, пристроенную на новом месте. Камин затыкался, чтобы не вытягивал тепло. Доброй половиной моей новой жилухи был камень, остальное



пространство укрыто брёвнами, поставленными стоймя с наклоном, как в якутском балагане. На закопченной сажей скале и тёсаных брёвнах, утепленных мхом, плясали отблески огня. Я сидел на нарах из расщепленных полубревен, застеленных берестой, пил чай, думал о предстоящих делах, их очерёдности, и всё никак не мог определиться, как называть своё новое пристанище. Место для бани было подобрано. Она предполагалась просторней предыдущей. Вода была рядом. Ключи, бьющие из-под камней, вряд ли перемерзали в сильные морозы. Надо было как-то утеплить их срубом. С теми мыслями я уснул на новом месте.

Холодало, всё короче становились дни, подступавшая зима укрывала снегами, мои руки структурировали близлежащее пространство. На высоте хребта зычно выли ветры. Ночами они убаюкивали. Я наловчился выпекать хлеб в камине. Мыться приходилось по-охотничьи, возле жилухи: нагрев воды в банном котле, сначала — голову, затем, надев шапку, — туловище. Обтершись, одевшись до пояса и обнажившись ниже, ступал в банный котёл с нагретой водой, мыл ноги и все остальное. Свежее бельё, вкладыш спального мешка, благоухавшие зимней свежестью и дымом, были выстираны загодя.

Ощущая всем телом чистоту и таёжную свежесть, я сидел на нарах, грелся у печки, глядел на её огонь и попивал душистый травяной отвар. Вид огня завораживал, рассеивал мысли, душа погружалась в тихую радость покоя. Всё было хорошо, не хватало только бани. Надо было строить. Звери тоже стремятся облегчить и улучшить свой быт, но не доходят в этом до человеческого абсурда, сытость и безопасность клетки их не прельщает, — иронизировал я сам над собой. Но им проще, мне не мыться никак нельзя: не так устроен.

Часть приготовленных летом веников я перенёс сюда. Связанные по парам, они висели на нижних сучьях ближайших деревьев, привлекая коз, дразня меня воспоминаниями о парной баньке по-чёрному. «Спокойно, дружище, спокойно! У нас ещё всё впереди!» — успокаивал я себя, но кончались мука, сахар и подсолнечное масло. Очень не хотелось убивать, но надо было добывать мясо. Эта проблема была покрусче бани.

Коз я не трогал, но против козлов пришлось погрешить. На козлятине и остатках муки дотянул до середины декабря, затем, с последней горстью пшёнки и двумя смерзшимися лопатками в рюкзаке на рассвете отправился на место бывшего зимовья и пришёл туда после полудня. Всё было засыпано снегом, знакомый пенёк покрыт белой пуховой шапкой. Сбросив лыжи, я обмёл его и присел. Похоже, без меня здесь никого не было. Мой лес продолжал жить своей, не связанной со мной жизнью, и забывал меня... От этого было немножко грустно.

Дров от распиленного зимовья, бани и лабаза хватило бы на много ночёвок, далеко ходить за ними не надо. Я разгрёб снег на месте бывшей избушки и развёл огонь, а на другой день был в своём балагане под елью. Как ни старался скрыть его от чужих глаз, люди здесь всё же побывали: возможно, мои нежеланные гости искали лёгкий путь к бывшему зимовью. Я снял полиэтилен с крыши, вынес печку с трубой, надёжно спрятал их в лесу и стал ломать строение, потому что еще в начале года решил ночевать на солнцеворот под открытым небом.

Земля, вращаясь в космической стуже, неслась к самой отдалённой от солнца точке, с которой должна была, как обычно, начать приближение к теплу и свету. Накатывала тоска, будто и сам я, нырнув в глубины вод, из последних сил пытался достать тёмное илистое дно. Стараясь думать только о солнце, я грел землю для ночлега и наблюдал сгущавшиеся сумерки. Растаял снег в котелке. Я поелозил

ножом по застывшему мясу. Пришлось погреть его, чтобы настрогать в котелок и сварить. Неприязненно пережёвывая его, с удовольствиемпил мясной отвар. Под боком потрескивала сложенная ножья. Я смотрел на огонь, рассеивающий мысли. Звёзды над головой беззвучно шелестели о чём-то загадочном и вечном. Огонь и звёзды, только они занимали меня в ту ночь, когда я, укутавшись в пуховый спальник с головой, согревал себя дыханием и сквозь щель смотрел на них, пока не начала покачиваться земля, и я ощутил себя едущим в вагоне поезда.

Видимо, я дремал, пережидая дискомфорт тесноты, неприятную поездку в переполненном вагоне. Открыл глаза, было душно и сыро от дыхания разморенных жарой пассажиров. Я посмотрел в окно, понял, что большая часть пути уже пройдена, вспомнил, что я — охотовед и возвращаюсь из города, где вынужден был задержаться по каким-то занудным делам. Поднял глаза на пассажира, сидящего против меня на боковушке, и растворился в небесной синеве глаз. Я часто летаю во сне, но в такой блаженной среде оказался впервые.

Передо мной сидела женщина с глазами ангела. Я видел её впервые, но всегда знал, что мы с ней встретимся, и зовут её Светланой, потому что иного имени у этих глаз не могло быть.

— Ну, здравствуй, Света! — сказал я глазам, смутно, боковым зрением улавливая черты её лица.

— Разве мы знакомы? — спросила она, смеясь, но ничуть не удивившись моему приветствию.

— Да, конечно! Мы встречались и даже были близки, но не в другой жизни... А в этой... — Я поперхнулся, не желая повториться: — вы ушли от мужа, выразили двух хороших сыновей и теперь свободны.

Напомнив об оставленном муже, который не заметил света, исходящего от этой женщины, я подумал, что сейчас в синеве глаз появится тёмная тучка. Но этого не случилось. Она тихо рассмеялась и легонько коснулась пальцами моей руки. И этот её жест был упоительно знакомым то ли по снам, то ли по прошлому в каких-то иных временах и измерениях.

— Вы говорите такие странности?! Но мне почему-то приятно слушать.

Мне редко случалось влюбляться с первого взгляда и, как правило, без взаимности, но тут я почувствовал свой звёздный миг, который нельзя упустить, и торопливо заговорил:

— Вы любите путешествовать, хотя ваша работа связана с отдалёнными командировками! Вам интересны эти места?! Но разве можно что-то увидеть из вагона, кроме придорожных декораций? — Кивком головы указал на проплывавшие картины заплётённого леса и скал, испачканных надписями. — Я выхожу через две остановки на третьей. У меня дом в тайге, на берегу горной речки. Позвольте себе маленькое безумие, сойдите со мной на незнакомой станции, и я постараюсь показать вам то, что невозможно увидеть из окна: настоящий живой и прекрасный лес.

Она, как и я, любила тайгу. Я понял это сразу, по мимолётному восторгу, мелькнувшему в её глазах.

— Наверное, это глупо, выйти на незнакомой станции с незнакомым мужчиной?! — опять тихо рассмеялась она. — Но, почему-то, очень хочется.

— Раз хочется, надо выйти, чтобы потом не жалеть. Позвоните сыновьям, скажите, где вы и с кем.

Она улыбнулась одними глазами, кивнула, достала сотовый телефон и вышла в тамбур. Я ждал, стараясь успокоить гулко бившееся сердце. Едва она скрылась

за дверью, снова стало душно, сыро и шумно. В соседнем купе веселилась группа выпускников школ, все были пьяны свободой, начинавшимися жизнями и выпавшими на их доли судьбами. Восторженный, срывавшийся на писк голос предлагал выйти на следующей станции. Другой, девичий, спрашивал: «Зачем?» «А так, для прикола!» Группа зашумела. Романтика не поддержали.

В вагон вошла Светлана. Она сжимала в руке телефон и улыбалась. Я снова оказался в орбите её глаз: посвежел воздух, стих шум, будто мы остались наедине.

— Что сын?

— Не советовал! Опасается, что вы — маньяк. Я ему сказала, что этого не может быть, потому что у вас хорошие глаза.

— Выходим? — обрадовался я.

Она улыбнулась и стала собирать свой рюкзачок.

Моя станция — никакой станции: вытоптаный пяточок земли, остановка по просьбе. Обдав нас запахом сгоревшей солярки, тепловоз рывкнул и поволок вагоны дальше. Из окон выглядывали веселые туристы и махали нам руками. Ветерок из пади очистил воздух от гари, в лица пахнуло свежим и душистым запахом тайги. Зажмурившись, со счастливым лицом, она втянула его в себя всей грудью и доверчиво раскинула руки, как птица крылья. Я тихонько сжал в своей ладони её ладонь и повел по тропинке вглубь леса. Там у меня была просторная изба, принадлежавшая лесничеству, и баня, срубленная из сухостойной осины. Никого из егерей на кордоне не было.

Мы шли по узкой лесной тропе. Ветки деревьев и кустарников радостно и ласково касались нашей одежды. Пела душа. Я чувствовал себя планетой, долго блуждавшей в космической стуже, наконец-то попавшей на орбиту Солнца, и был счастливо пьян ощущением близости своего ангела. Остывало тело, покрытое испарениями путевого дыхания пассажиров. Хотелось, чтобы тропа не кончалась, а впереди была вечность.

Но вот показались знакомые крыши среди деревьев. Я указал на них небесным глазам и сладостно, будто перекидывал языком со щеки на щеку душистую карамельку, выговорил её имя.

— Свет-ла-на! — Она вскинула на меня рассеянный, радостный взгляд. И я, ещё раз блаженно окунувшись в него, продолжил: — Я затоплю баню и приготовлю ужин. А ты погуляй по моему лесу. Не уходи за перевал, а здесь заблудиться негде.

Мне было жаль отрываться от этой близкой и почти незнакомой ангелины, но я чувствовал, что не имею права удерживать её возле себя: у моего Солнца были и другие заботы.

Она вернулась из леса восторженная, с сияющими глазами. Скромный ужин был готов, баня подогрелась. Я показал ангелу, как ей пользоваться, и бес сорвал с языка почти пошлость:

— А вместе слабо?

Сказал и испугался. Светлана слегка смутилась, опустила глаза и тихо ответила:

— Слабо!

— Ну, тогда, тёплой воды много, не экономь.

Остывающее солнце ложилось на таёжные увалы. Она вышла из бани с мокрыми волосами, глаза её сияли прежним блеском. Я понял, что допущенная мной неловкость прощена и зашлифована. Сам неторопливо помылся. Вода была чи-

ста и невидима, как таёжный воздух, ощущалась только теплом, скатывавшимся с кожи, смывавшим грязь и запахи города. Я вошёл в сумеречный дом и зажёл свечи. Моя ангелина грустно смотрела на шкуру волка, распятого на бревенчатой стене, она сострадала убитому и ободранному зверю.

— Не мой грех! — прошептал я, встав за её спиной. Срываясь с орбиты и приближаясь к Солнцу, втянул в себя дурман её сырых волос, положил на плечи подрагивавшие ладони, и дрожавшим от волнения голосом прошептал:

— Много всего было в прошлом, но узнать своего ангела с первого взгляда — довелось впервые.

— Думаешь, я не волнуюсь?! — обернулась она ко мне и стала растёгивать блузку...

Я открыл глаза. Сквозь смёрзшиеся ресницы виднелся блеск звёзд. Была студёная декабрьская ночь, но их свет казался таким тёплым, что обжигал незащищённое лицо. В ушах звучали последние слова ангелины, которая действительно была в моей жизни после богоданной жены, когда всё казалось конченным. И наша встреча с ней помнилась почти такой, как приснилась. Редактуры прошлому не требовалось. Мои ресницы оттаяли, ярче заблестели звёзды, ласково заперемигивались, уверяя, что, несмотря на забубённое одиночество, любви в моей жизни было не так уж мало. Кончился ещё один год, начинался другой: для космоса — мгновение, для меня больше трёх с половиной сотен днёвок и ночёвок. Земля опять приближалась к Солнцу. С рассветом наступит первый день моей новой жизни, моего нового пути. Не важно, короток он или долог, не важно, что впереди, лишь бы до конца пройти своей тропой и не сбиться на общий тракт. Ласковые звезды смотрели на меня и наперебой шептали, что я пришёл на Землю из океана любви и в конце пути туда вернусь: потому что любовь есть Бог, а Бог есть любовь!